# Старая дева

# Оноре де Бальзак

Г-ну Эжену-Огюсту-Жоржу Луи Миди де ла Гренре Сюрваль, из Королевского корпуса инженеров путей сообщения, — в знак сердечной привязанности посвящает его шурин

де Бальзак.

Многим, вероятно, случалось встречать в некоторых областях Франции одного, а то и нескольких шевалье де Валуа. Какой-то из них жил в Нормандии, другой обретался в Бýрже, третий в 1816 году благоденствовал в городе Алансоне, четвертого, быть может, заполучил Юг. Но давать перечень этого валуаского племени здесь ни к чему. Все эти шевалье, среди которых, разумеется, кое-кто был таким же Валуа, как Людовик XIV — Бурбоном, знали друг о друге так мало, что решительно ни с кем из них не стоило говорить об остальных. Все они, впрочем, оставили Бурбонов в полном покое на троне Франции, ибо уж слишком хорошо известно, что Генрих IV стал королем из-за отсутствия наследника мужского пола в старшей ветви Орлеанского дома, именуемой де Валуа. Если и существуют де Валуа, то происходят они от Карла IX и Марии Туше, мужское потомство которого считалось угасшим до той поры, когда в лице аббата де Ротлена было получено доказательство противного, а род Валуа-Сен-Реми, отпрысков Генриха II, тоже прекратился на пресловутой Ламот-Валуа, замешанной в деле об ожерелье[[1]](#footnote-1).

Все эти шевалье, если верить сведениям о них, были, подобно алансонскому, пожилыми дворянами, долговязыми, сухопарыми и без всяких средств. Шевалье буржский эмигрировал, туренский скрылся, — алансонский же воевал в Вандее и несколько шуанил[[2]](#footnote-2). Почти всю свою молодость, до тридцати лет, он провел в Париже, где в разгаре любовных побед был настигнут революцией. Алансонский шевалье де Валуа, признанный высшей провинциальной знатью подлинным Валуа, отличался, подобно всем своим однофамильцам, превосходными манерами и производил впечатление человека великосветского. Ежедневно он обедал в гостях, а по вечерам играл в карты. Шевалье прослыл острословом благодаря одной из своих слабостей — он сыпал анекдотами о царствовании Людовика XV и о начале революции. Всякий, кто слушал эти истории впервые, находил, что они весьма недурно переданы. Впрочем, к чести шевалье де Валуа надо заметить, что своих собственных острот он никогда не повторял, равно как никогда не рассказывал о своих любовных похождениях, так что лишь ужимки и улыбочки очаровательным образом досказывали недосказанное. Этот славный человек, в качестве старого вельможи-вольтерьянца, даже не заглядывал в церковь, но к его безбожию относились на редкость снисходительно, принимая во внимание его приверженность королевскому трону. Какая-то особенная прелесть была в том жесте, вероятно заимствованном у Моле[[3]](#footnote-3), каким он брал понюшку из старой золотой табакерки, украшенной портретом княгини Горицы, обольстительной венгерки, прославленной красавицы последних лет царствования Людовика XV. Об этой знаменитой чужестранке, привязанности своих юных дней, он всегда говорил с сердечным волнением; он дрался из-за нее на дуэли с г-ном де Лозеном. Шевалье, которому в описываемую пору было лет пятьдесят восемь, признавал за собою лишь пятьдесят и мог позволить себе эту невинную ложь, ибо из всех особенностей, которые выгодно отличают сухощавых блондинов, он все еще сохранял юношескую стройность стана, столь молодящую и женщин и мужчин. Да, знайте, вся жизнь — или все изящество, которое есть выражение жизни, — заключается в стане. К отличительным признакам шевалье надо также отнести достойный удивления нос, каким наградила его природа. Нос этот резко делил его бледное лицо на две части, казалось, знать не знавшие друг о друге, из которых только одна краснела во время процесса пищеварения. Факт этот следует отметить в эпоху, когда физиология столько занимается изучением человеческого сердца: воспламенялась левая сторона. Хотя длинные и тонкие ноги, хрупкость и мертвенная бледность г-на де Валуа не свидетельствовали о крепком здоровье, тем не менее он ел за десятерых и утверждал — вероятно, желая оправдать свой чрезмерный аппетит, — что страдает недугом, который в провинции определяется термином *горячая печень*. Краснота одной щеки убеждала в этом всех; но в краю, где тридцать-сорок блюд следуют развернутым строем по четыре часа кряду, желудок шевалье казался благодатью, ниспосланной славному городу Алансону самим провидением. Согласно теориям некоторых медиков, жар слева указывает на любвеобильное сердце. Галантная сторона жизни шевалье подтверждала эти научные выводы, ответственность за которые, к великому счастью, не лежит на историке. Вопреки этим симптомам г-н де Валуа обладал натурой выносливой, следовательно живучей. Если печень его горела, то, по старинному выражению, пламень его сердца был не меньше. Пусть лицо шевалье было несколько морщинистым, пусть волосы его серебрились, — глаз сведущего наблюдателя уловил бы в этом печать страстей и следы наслаждений. Выразительными *гусиными лапками* и *дворцовыми ступеньками* складывались эти элегантные морщинки, что столь ценятся в царстве Киферы[[4]](#footnote-4). Все в этом кокетливом шевалье обличало дамского угодника. Он так тщательно умывался, что приятно было глядеть на его щеки, как бы протертые волшебным эликсиром. Та часть черепа, которую никак уже не удавалось прикрыть волосами, блестела, как слоновая кость. Его брови, так же как волосы, подчиняясь искусной гребенке, сохраняли молодой вид. Казалось, кожа его, и без того такая белая, была еще убелена каким-то секретным снадобьем. Он не употреблял духов, но от него исходило как бы свежее благоухание молодости. Его барственные руки, холеные, как у щеголихи, привлекали взор розовыми, прекрасно отделанными ногтями. Словом, если бы не внушительный, ни с чем не сравнимый нос, он был бы красавчиком.

Придется испортить этот портрет, открыв одну безделицу. Шевалье закладывал уши ватой и вдобавок носил бриллиантовые сережки — две негритянские головки, впрочем дивной работы; он очень дорожил ими и в оправдание этому странному для мужчины украшению заявлял, что стоило ему проколоть себе уши, как он избавился от мигреней — у него бывали мигрени. Мы не представляем шевалье каким-то совершенством; но не следует ли хоть сколько-нибудь прощать старым холостякам, у которых сердце пригоняет столько крови к голове, их очаровательные чудачества, основанные, возможно, на возвышенных тайнах? К тому же шевалье де Валуа искупал свои серьги столькими приятными чертами, что общество могло считать себя достаточно вознагражденным. В самом деле, он прилагал немало усилий, чтобы скрывать свои годы и нравиться знакомым. Надо отметить прежде всего его доведенную до крайности заботу о своем белье — единственное щегольство, которое порядочный человек может нынче позволить себе в одежде; у шевалье белье всегда отличалось тонкостью и белизной. А на платье его, отменно чистом, хотя и поношенном, не было ни пятнышка, ни складочки. Тем, кто замечал аристократически небрежное обращение шевалье со своим костюмом, такой аккуратный вид казался чудом; шевалье, правда, не дошел до того, чтобы скрести платье стеклом — утонченная выдумка принца Уэльского, — но в свое подражание началам высшей английской элегантности г-н де Валуа вкладывал собственную изысканность, которую не могли оценить обыватели Алансона. Не обязан ли свет почитать тех, кто ничего ради него не жалеет? Не было ли здесь столь трудно осуществимого воздаяния добром за зло, согласно евангельскому завету? Такая опрятность и выхоленность очень пристали к голубым глазам, зубам цвета слоновой кости, ко всей внешности белокурого шевалье. Однако в наружности этого отставного Адониса не было ничего мужественного, и казалось, что он прибегал к прикрасам туалета, чтобы скрыть губительные следы военных действий на службе галантности. Ко всему сказанному надо добавить, что голос шевалье как бы противоречил его характерной для блондина хрупкости. Если бы вы не присоединились к мнению некоторых наблюдателей сердца человеческого и не решили, что голосу шевалье надлежало быть сродни его носу, то вас поразили бы широта и богатства этого голоса. Не обладая мощным баритоном, он прельщал глуховатым, как у английского рожка, звучанием средних нот, ровных и мягких, сильных и бархатистых. Шевалье отказался от уморительного костюма, которого все еще придерживались некоторые сторонники монархии, и стал смело одеваться на современный лад; он всегда появлялся во фраке каштанового цвета с золочеными пуговицами, в коротких, полуоблегающих панталонах из матового шелка, с золотыми пряжками у колен, в белом жилете без всякой вышивки, с галстуком, повязанным без воротника, — отголосок старинной моды, от которого он еще и потому не отступался, что мог таким образом выставлять напоказ свою шею, достойную какого-нибудь благоденствующего аббата. На его черных лакированных башмаках красовались четырехугольные золотые пряжки, о каких до нынешнего поколения не дошло даже воспоминаний. Шевалье оставлял на виду две часовые цепочки, протянутые рядом от одного жилетного кармана к другому, — опять-таки отголосок моды восемнадцатого века, которым не пренебрегли щеголи времен Директории. Этот костюм переходного времени, соединявший в себе две эпохи, шевалье носил с грацией маркиза, секрет которой был утрачен на французской сцене в тот день, когда с подмостков сошел Флери, последний ученик Моле. Частная жизнь этого старого холостяка, казалось, была на виду у всех, а в действительности представляла загадку. Он занимал по меньшей мере скромную квартиру на улице дю Кур, в третьем этаже дома, принадлежавшего г-же Лардо, лучшей в городе прачке, стиравшей тонкое белье и постоянно заваленной работой. Этим и объясняется чрезвычайная изысканность белья шевалье. По несчастью, случилось так, что в один прекрасный день всему Алансону пришлось поверить, будто г-н де Валуа не всегда вел себя, как подобает дворянину, и на старости лет тайно обвенчался с некоей Цезариной, матерью ребенка, имевшего дерзость появиться на свет непрошеным.

— Она так усердно раздувала для него свои утюги, что в конце концов воспламенился и он сам, — съязвил тогда некий г-н дю Букье.

Эта ужасная клевета омрачила на склоне лет жизнь впечатлительного дворянина, тем более что, как покажет настоящее повествование, он пережил притом гибель давно лелеемой надежды, ради которой принес немало жертв. Г-жа Лардо сдавала шевалье де Валуа две комнаты в третьем этаже своего дома за умеренную плату — сто франков в год. Достойный дворянин, что ни день обедавший в гостях, возвращался домой только ночевать. Стало быть, расходовался он лишь на завтрак, неизменно состоявший из чашки шоколада, хлеба, масла и каких-либо фруктов, смотря по времени года. Он разводил огонь лишь в самые сильные холода, исключительно по утрам. От одиннадцати часов утра и до четырех часов дня он гулял, ходил читать газеты, делал визиты. Поселившись в Алансоне, шевалье сразу же честно признался в своей бедности, сообщив, что все его богатство заключается в шестистах ливрах пожизненной ренты, последних крохах былой роскоши, четыре раза в год высылаемых ему его бывшим стряпчим, у которого хранились соответствующие бумаги. И действительно, местный банкир каждые три месяца отсчитывал ему полтораста ливров, приходивших на имя шевалье из Парижа от некоего Бордена, последнего прокурора Шатле. Это стало широко известно по той причине, что шевалье просил первого, кому доверился, сохранить все в глубокой тайне. И г-н де Валуа извлек пользу из своего несчастья: в лучших домах Алансона ему было обеспечено место за столом и приглашение на все вечера. Его таланты игрока, рассказчика, человека любезного и благовоспитанного были настолько признаны, что вечер считали неудавшимся, если на нем не присутствовал этот единственный в городе тонкий ценитель обычаев света. Хозяева дома и дамы не могли обойтись без его одобрительной гримаски. Когда, бывало, старый шевалье скажет на балу какой-нибудь молодой женщине: «На вас сегодня восхитительное платье!», то эта похвала радовала ее больше, чем даже зависть соперницы. Никому, кроме господина шевалье де Валуа, не дано было с такой непринужденностью произносить некоторые выражения минувших лет. *Сердечко мое, сокровище мое, горлица моя, владычица моя* — все любовные ласкательные словечки 1770 года приобретали в его устах неотразимую прелесть; словом, только ему была дозволена некоторая выспренность. Его комплименты, на которые он, впрочем, был скуповат, завоевали ему благосклонность старушек; он льстил всем, даже чиновникам, до которых ему нужды не было. За игорным столом шевалье выказывал такт, какой был бы оценен везде; он никогда не сетовал на неудачу, хвалил игру своих противников, когда им не везло; нисколько не пытался поучать партнеров, показывая им, как лучше всего разыграть партию. Когда во время *сдачи* затевались скучные споры, шевалье жестом, достойным Моле, вытаскивал табакерку, устремлял взгляд на княгиню Горицу, с достоинством открывал крышку, разминал и встряхивал свою понюшку, растирал ее в порошок, насыпал горкой, как только карты бывали сданы, он набивал нос табаком и водворял княгиню в жилетный карман — неизменно в левый! Лишь дворянин *славного* века (в противовес веку *великому* ) мог найти такой переход от презрительного молчания к насмешке, никому не понятной. Он садился за карты с горе-игроками — это было ему на руку. Подкупающее ровный нрав его давал многим повод говорить: «Я в восторге от шевалье де Валуа!» И речь и манеры — все у него, казалось, было выдержано в таких же светлых тонах, как и его внешность. Он старался никого не задеть — ни мужчин, ни женщин. Равно снисходительный к физическим изъянам и к недостаткам разума, он с помощью княгини Горицы терпеливо выслушивал людей, рассказывавших ему о мелких неурядицах провинциальной жизни — о недоваренном яйце, поданном к завтраку, о кофе, в котором свернулись сливки; о смехотворных подробностях, касающихся здоровья, о внезапных пробуждениях, снах, визитах. Для того чтобы разыграть сочувствие, у шевалье был про запас жалостливый взгляд и классическая поза, которые делали его прелестным слушателем; он вставлял: *«Ах! скажите на милость! ну, и что же?»* — всегда изумительно кстати. Так до самой своей смерти он не дал никому заподозрить, что, пока катилась эта лавина глупостей, он отдавался воспоминаниям о самых волнующих эпизодах своего романа с княгиней Горицей. Подумал ли кто хоть раз об услугах, какие может оказать свету угасшая страсть, и о пользе любви как источнике общительности? Этим, пожалуй, объясняется, почему шевалье оставался баловнем целого города, несмотря на постоянную удачу в картах, — ибо, уходя из гостей, он всегда уносил с собою франков шесть выигрыша. Проигрыши, о которых он, надо заметить, громко трубил, случались у него очень редко. Все, кто знавал его, сходятся на том, что никогда и нигде, даже в египетском музее в Турине, им не попадалась такая очаровательная мумия. Нет другой страны во всем мире, где паразитизм облекался бы в столь пленительную форму. Не было случая, чтобы самое глубочайшее себялюбие выражалось у кого-либо другого в более приятном и безобидном виде, нежели у этого дворянина; оно было ничуть не хуже самоотверженной дружбы! Если кто-нибудь приходил к г-ну де Валуа с просьбой о небольшой услуге, требовавшей некоторых хлопот, то уходил он от славного шевалье совершенно влюбленным в него, а главное — уверенным, что тот бессилен помочь или даже испортил бы все дело своим вмешательством.

Чтобы объяснить загадку безбедного существования шевалье, историк, к которому Истина, эта жестокая подстрекательница, пристает с ножом к горлу, вынужден вспомнить, как недавно, после знаменательных и печальных июльских дней, Алансон узнал, что сумма выигрышей г-на де Валуа за каждые три месяца составляла около ста пятидесяти экю и что изворотливый шевалье отважился посылать самому себе пожизненную ренту, дабы не сойти за неимущего в краю, где любят основательность. Многие его друзья (его уже не было в живых, заметьте!) с пеной у рта оспаривали это обвинение, называли все это баснями, считая, что шевалье был благородным, достойным дворянином, оклеветанным либералами. К счастью для ловких картежников, среди зрителей всегда найдется кто-нибудь, чтобы их поддержать. Не решаясь оправдывать постыдное поведение, эти почитатели наотрез отрицают его; не приписывайте им упрямства, — попросту у этих людей есть чувство собственного достоинства: правительства подают им пример такой добродетели, хороня своих мертвецов по ночам и не служа торжественных молебнов, когда проиграна битва. Если шевалье позволил себе пуститься на уловку, которая, впрочем, снискала бы ему уважение шевалье де Грамона, улыбку барона де Фенеста[[5]](#footnote-5), рукопожатие маркиза де Монкада[[6]](#footnote-6), разве он из-за этого стал менее учтивым или менее остроумным гостем, не столь незаменимым партнером, не столь восхитительным рассказчиком — усладой всего Алансона? Чем, собственно говоря, этот поступок, вполне согласованный с законами свободной воли, противоречит изысканным дворянским нравам? Когда многие вынуждены заботиться о пожизненной ренте для посторонних, что может быть естественнее, чем платить ее добровольно своему лучшему другу? Но Лай умер... К концу каких-нибудь пятнадцати лет подобного образа жизни шевалье собрал десять тысяч и несколько сот франков. С возвращением Бурбонов один из его давнишних друзей, маркиз де Помбретон, бывший лейтенант черных мушкетеров, вернул ему, по словам шевалье, тысячу двести пистолей, которые некогда, отправляясь в эмиграцию, взял у него в долг. Это событие наделало шума и впоследствии приводилось в пример как довод против насмешек, в которых изощрялась газета *«Конститюсьонель»* по поводу того, как платят долги некоторые эмигранты. Если кто-нибудь заговаривал при шевалье о благородном поступке маркиза де Помбретона, у бедняги краснела даже правая сторона лица. Все радовались тогда за г-на де Валуа, державшего совет с людьми денежными, как ему лучше употребить эти крохи своего состояния. Доверившись судьбам Реставрации, он поместил деньги в бумаги государственного казначейства, когда рента шла по пятьдесят шесть франков двадцать пять сантимов. Господа де Ленонкур, де Наваррен, де Верней, де Фонтэн и Ла Биллардиер, которые, по словам шевалье, знали его, выхлопотали ему пенсию в сто экю из королевской казны и послали крест святого Людовика. Навсегда осталось неизвестным, какими путями удалось старому шевалье добиться, чтобы его титул и звание были, таким образом, торжественно освящены, — одно несомненно: грамота о пожаловании креста святого Людовика за его заслуги в католических армиях Запада давала ему право на чин полковника в отставке. Следовательно, кроме мнимой пожизненной ренты, которая никого тогда не смущала, у кавалера была тысяча франков действительного годового дохода. Несмотря на такую перемену к лучшему, он остался верен своему образу жизни и своим привычкам; только красная ленточка украсила фрак каштанового цвета и, так сказать, довершила облик дворянина С 1802 года шевалье запечатывал свои письма очень старой золотой печаткой, довольно скверно вырезанной, но по которой Катераны, д'Эгриньоны, Труавили могли видеть, что герб его имеет французский щит, *рассеченный вертикально на две равные части: на красном поле — двойные косые полосы и на красном поле — пять золотых, крестообразно сомкнутых вершинами, ромбоидальных фигур; верх щита черный с серебряным крестом; увенчан щит рыцарским шлемом, девиз — Valeo[[7]](#footnote-7)*. При наличии такого благородного герба тому, кто слыл побочным отпрыском рода де Валуа, можно и должно было садиться во все королевские кареты на свете.

Многие завидовали безмятежному существованию старого холостяка, заполненному искусно сыгранными партиями в бостон, триктрак, реверси, вист и пикет, хорошо переваренными обедами, грациозно втянутыми понюшками табаку и мирными прогулками. Почти все в Алансоне полагали, что это существование свободно от честолюбивых замыслов и серьезных забот; но нет человека, чья жизнь была бы так проста, как это кажется его завистникам. В самых забытых деревеньках вы найдете человеческих моллюсков, коловраток, с виду безжизненных, но одержимых страстью к собиранию чешуйчатокрылых или к конхилиологии и готовых на все, чтобы раздобыть какую-нибудь бабочку или *Concha Veneris* [[8]](#footnote-8). У шевалье не только были свои ракушки, но он к тому же лелеял честолюбивое желание, осуществить которое старался с хитростью, достойной папы Сикста V; он задумал жениться на одной богатой старой деве — безусловно, намереваясь воспользоваться этим браком как ступенью в высокие придворные сферы. Вот в чем был секрет его царственной осанки и его пребывания в Алансоне.

Как-то, в среду, рано поутру, почти в самый разгар весны *шестнадцатого* года, как любил выражаться шевалье, в ту минуту, когда г-н де Валуа облачался в халат из полинявшей камки, зеленой в цветочках, он услышал, несмотря на вату в ушах, легкие девичьи шаги на лестнице. В дверь не замедлили осторожно постучать три раза; затем, не дожидаясь ответа, в комнату старого холостяка змейкой проскользнула красивая девушка.

— А? Это ты, Сюзанна? — сказал шевалье де Валуа, не прерывая начатого дела — правки бритвенного ножа о ремень. — С чем пожаловала, бесценная проказница?

— Я пришла сказать вам кое-что, и, думается мне, это вас и обрадует и огорчит.

— Не о Цезарине ли речь?

— Только мне и заботы, что о вашей Цезарине! — отрезала она с видом, в одно и то же время задорным, многозначительным и беспечным.

Прелестная Сюзанна, чья забавная затея должна была так сильно повлиять на судьбы главных действующих лиц этой повести, служила гладильщицей у г-жи Лардо. Несколько слов относительно топографии дома. Прачечная занимала весь нижний этаж. В маленьком дворике сушились на волосяных веревках вышитые носовые платки, воротнички, шемизетки, манжеты, рубашки с жабо, галстуки, кружева, вышитые платья, все тонкое белье лучших домов города. По числу шемизеток жены управляющего окладными сборами шевалье брался узнать все подробности ее похождений, ибо рубашки с жабо и галстуки были тут в каком-то соотношении с шемизетками и воротничками. Хотя и осведомленный благодаря этой своего рода двойной бухгалтерии о любовных интригах всего города, шевалье ни разу не совершил ни одной бестактности, ни разу не отпустил ни одной двусмысленной колкости, которая затворила бы перед ним двери какого-либо дома (а уж он ли не был остер на язык!). Поэтому можете считать г-на де Валуа человеком исключительно благопристойным, чьи таланты заглохли, как это часто бывает, в слишком замкнутом кругу. Одно только позволял себе шевалье (в конце концов, ведь он был мужчина!) — лукавый взгляд исподтишка, от которого женщин бросало в жар и в холод; тем не менее его все любили, убеждаясь, как глубока его скромность, сколько в нем сочувствия к милым слабостям. Дверь против двери с шевалье помещалась старшая мастерица г-жи Лардо, ее правая рука, сорокапятилетняя старая дева, страшная уродина. Выше были только чердаки, где зимой сушилось белье. Каждая квартира, как и та, что занимал шевалье, состояла из двух комнат, одна — окнами на улицу, другая — во двор. Этажом ниже шевалье жил дед г-жи Лардо, бывший корсар по имени Гревен, некогда, при адмирале Симезе, служивший в Индии, ныне старый, глухой паралитик. Что до г-жи Лардо, занимавшей другую квартиру второго этажа, то она, при своей слабости к людям высокого звания, могла по отношению к шевалье сойти за слепую. Для нее г-н де Валуа был самодержцем, который что ни делает — все хорошо. Случись какой-нибудь из ее работниц согрешить и осчастливить шевалье, г-жа Лардо сказала бы: *«Он так достоин любви!»* Таким образом, хотя у дома этого, как у всех домов в провинции, были, что называется, прозрачные стены, однако они становились непроницаемы, словно в воровском притоне, когда дело касалось г-на де Валуа. Будучи по врожденной склонности поверенным любовных интрижек всей прачечной, шевалье никогда не проходил мимо ее дверей, большую часть времени распахнутых настежь, не подарив чего-нибудь своим «кошечкам»: шоколадки, конфетки, ленточки, кружевца, золотого крестика, всякого рода дешевых побрякушек, от которых гризетки без ума. И они обожали доброго шевалье. Женщины инстинктивно угадывают мужчин, которых привлекает к ним один шелест их юбки, которые счастливы одной их близостью и никогда не позволяют себе такую глупость, как спрашивать проценты со своей любезности. У женщин в этом отношении чутье собаки, которая в обществе людей направляется прямо к тому, кто души не чает в животных. У бедного шевалье де Валуа сохранилась от прежней жизни потребность оказывать нежное покровительство, что в былое время отличало знатного вельможу. Он держался здесь, словно в загородном домике для любовных свиданий, то и дело одаривал женщин — единственные существа, которые отлично умеют брать подарки, потому что всегда могут отдарить. Не странно ли, что в эпоху, когда школяры, едва покинув коллеж, занимаются изысканиями по поводу какого-нибудь символа или роются в мифах, никто еще не объяснил, что породило жриц любви восемнадцатого века? Не турниры ли пятнадцатого века? Еще в 1550 году рыцари бились в честь своих дам; в 1750 году на прогулках в Лоншане они выставляли напоказ своих любовниц; нынче они пускают там на скачки своих лошадей; во все времена дворянин старался создать свой особый образ жизни. Загнутые носки на башмаках у щеголей четырнадцатого века — в сущности, то же, что красные каблуки франтов восемнадцатого века, а в роскоши содержанок 1750 года столько же показного, сколько в чувствах странствующего рыцарства. Но где уж было шевалье разоряться на любовницу! Вместо конфет, завернутых в банковые билеты, он любезно преподносил всего-навсего пакетик со сдобными сухариками. Однако, к чести Алансона будь сказано, принимая эти сухарики, им радовались больше, чем некогда радовалась Дюте, получая от графа д'Артуа золоченый туалетный прибор или карету. Гризетки поняли величие шевалье де Валуа, присущее ему и в ничтожестве, и свои домашние вольности с ним держали в глубокой тайне. Если в городе, в некоторых домах, их расспрашивали о шевалье де Валуа, они почтительно отзывались об этом дворянине, они умышленно старили его; послушать их, так шевалье был достойным старцем, ведущим поистине святую жизнь; зато наедине с ним они готовы были взобраться к нему на плечи, как попугаи. Шевалье любил узнавать подноготную городских семейств — неизбежное достояние прачек, — и девушки заходили к нему по утрам выкладывать все алансонские сплетни; он называл молодых прачек своими газетами в юбках, ходячими фельетонами; г-ну де Сартину[[9]](#footnote-9) никогда не снились соглядатаи столь сметливые, обходящиеся так дешево, которые к тому же сохраняли бы столько благородства при столь проказливом образе мыслей. Заметьте, что за завтраком наш шевалье потешался, как счастливейший из смертных.

Сюзанна, одна из его любимиц, умная и честолюбивая, таила в себе задатки какой-нибудь Софии Арну[[10]](#footnote-10); притом она была хороша, как самая красивая куртизанка, какую когда-либо Тициан призывал позировать на черном бархате, чтобы вдохновить свою кисть на создание Венеры; однако ее лицо, хотя и тонкое в очертаниях лба и глаз, грешило в нижней своей части грубостью линий. То была нормандская красота, свежая, яркая, округлая; то было рубенсовское тело, под стать мускулатуре Геркулеса Фарнезского, а не тело Венеры Медицейской, грациозной возлюбленной Аполлона.

— Ну-с, дитя мое, выкладывай, какие там у тебя дела или делишки!

Повсюду, от Парижа до Пекина, шевалье привлек бы к себе внимание своей отеческой нежностью к гризеткам; они напоминали ему куртизанок былых времен, тех пресловутых цариц Оперы, которые славились на всю Европу в течение доброй трети восемнадцатого столетия. Само собой понятно, что дворянин, живший во время óно среди этой породы женщин — позабытой ныне, как все великое, как позабыты иезуиты и флибустьеры, аббаты и откупщики, — усвоил себе невозмутимое добродушие, грациозную легкость обращения, снисходительность без примеси эгоизма, облик простого смертного, который принимал Юпитер у Алкмены[[11]](#footnote-11), — облик громовержца, который, позволяя себя дурачить, посылает ко всем чертям превосходство своих перунов и готов промотать весь Олимп, расточая его на безумства, на пирушки, на сонмы женщин, только бы укрыться подальше от Юноны. Несмотря на поношенный халат из зеленой камки, несмотря на убожество комнаты, служившей приемной, где была жалкая вышивка вместо ковра и старые, засаленные кресла, где стены были оклеены трактирными обоями с рисунками: тут — профилями Людовика XVI и членов его семьи на фоне плакучей ивы, там — текстом высочайшего завещания, оттиснутым как бы на погребальной урне, короче говоря, — сентиментальными выдумками роялизма времен террора; несмотря на весь этот упадок, от шевалье, брившегося перед старым туалетным зеркалом, задрапированным плохонькими кружевами, веяло духом восемнадцатого века!.. Весь изящный разврат его молодости всплывал вновь; казалось, шевалье опять богат — триста тысяч долга и собственная двухместная карета у подъезда. В нем было величие Бертье[[12]](#footnote-12), который во время разгрома под Москвой отдавал приказы батальонам уже не существовавшей армии.

— Господин шевалье, — игриво промолвила Сюзанна, — стоит ли говорить: кажется, достаточно взглянуть!

И она повернулась боком — так, чтобы подтвердить свои слова явными доказательствами. Шевалье, видавший виды — можете не сомневаться, — не отводя бритвы от горла, покосился правым глазом на гризетку и притворился, что понял.

— Хорошо, хорошо, голубка моя, мы сейчас потолкуем. А по-моему, ты забегаешь вперед.

— Но, господин шевалье, не дожидаться же мне, пока матушка меня прибьет, а госпожа Лардо выгонит? Если я не уберусь живехонько в Париж, мне вовек не выйти замуж. Здесь мужчины такие чудаки!

— Чего же ты хочешь, дитя мое? Общество меняется, женщины, подобно знати, являются жертвой назревающего страшного беспорядка. За политическими неурядицами приходят неурядицы нравственные. Увы! Скоро женщина совсем перестанет существовать (он вынул вату, чтобы привести в порядок уши); она много потеряет, окунувшись с головой в чувство; она испортит себе нервы и лишится того милого и непритязательного удовольствия, которого в наши дни желали не стыдясь и которому предавались без жеманства, тогда к истерике (он почистил свои серьги) прибегали только затем, чтобы поставить на своем, а теперь женщины сделают из нее болезнь, которую придется лечить настойкой из флердоранжа (он расхохотался). Наконец сам брак станет чем-то отменно скучным (он взял в руки щипчики для выдергивания волос), а это была такая веселая штука в мои годы. Времена Людовика Четырнадцатого и Людовика Пятнадцатого, запомни это, дитя мое, были последним «прости» прекраснейшим в мире нравам.

— Но, господин шевалье, — возразила гризетка, — тут речь идет о нравственности и чести вашей Сюзанны. Надеюсь, вы меня не оставите.

— Как можно! — воскликнул шевалье, заканчивая прическу. — Я скорее согласился бы лишиться своего имени!

— А! — проронила Сюзанна.

— Так послушай же, мордашка! — сказал шевалье, развалясь на подушках большого кресла, в старину носившего название *дюшесс*, которое г-жа Лардо где-то откопала для своего жильца.

Он привлек к себе великолепную Сюзанну. Красотка не противилась — такая высокомерная на улице, двадцать раз отказывавшаяся от богатства столько же из гордости, сколько из презрения к мелочным расчетам своих алансонских поклонников! При этом Сюзанна так смело выставила перед шевалье мнимое доказательство своей греховности, что этот старый греховодник, который выпытал на своем веку немало всяких тайн у созданий, куда более коварных, с первого взгляда определил, как обстоит дело. Он отлично знал, что девушки не шутят с истинным бесчестьем; но он не захотел опрокинуть постройку, возведенную этой забавной ложью.

— Мы клевещем на себя, — сказал ей шевалье, усмехаясь с неподражаемо тонким лукавством, — мы добродетельны, как та библейская красавица, чье имя мы носим; мы можем смело выйти замуж; но нам не хочется прозябать здесь, мы жаждем попасть в Париж, где очаровательные создания богатеют, если они умны, а мы далеко не глупы. Нам хочется поехать в столицу наслаждений — взглянуть, не припасены ли там для нас юные шевалье де Валуа, карета, бриллианты, ложа в Опере. Русские, англичане, австрийцы понавезли туда миллионы, из которых кое-что маменька обеспечила нам в приданое, произведя нас на свет красавицей. Наконец, мы исполнены патриотизма, мы хотим помочь Франции забрать свои деньги из карманов этих господ. Хе-хе! Дорогой ты мой ягненочек-бесеночек, все это не плохо. Может быть, в твоем кругу и покричат немножко, но успех все оправдает. Одно плохо, деточка, — безденежье, а им больны и ты и я. Так как у нас ума палата, то мы задумали пустить в ход наше доброе имя, поддев старого холостяка; но этот старый холостяк, душа моя, знает как свои пять пальцев все женские уловки, — другими словами, тебе легче насыпать соли воробью на хвост, чем заставить меня поверить, что я виновник твоего несчастья. Поезжай в Париж, крошка, поезжай туда за счет тщеславия какого-нибудь холостяка, я не только не помешаю, я помогу тебе, ибо старый холостяк, Сюзанна, — это сущий клад, припасенный самой природой для молодой девушки. Но не впутывай меня во все это. Послушай, царица моя, ты ведь так хорошо знаешь жизнь; подумай, сколько ты причинила бы мне горя и вреда, ведь ты расстроила бы мои брачные планы в этом краю, где придают такое значение благонравию; допустим, что ты попала в беду, — хотя я отрицаю это, плутовка! — так ты же знаешь, милочка, у меня ничего нет за душой, я беден, как церковная крыса. Ах, если бы мне жениться на мадемуазель Кормон, если бы мне снова разбогатеть, я, конечно, предпочел бы тебя Цезарине. Ты всегда казалась мне тонкой, как листочек сусального золота, и созданной для любви знатного вельможи. Я настолько верю в твои способности, что штучки, которые ты тут разыгрываешь, нисколько не захватили меня врасплох, я этого ждал. Однако для девушки это смелый шаг. Чтобы так поступить, ангел мой, нужен незаурядный ум. И я уважаю тебя за это.

Подтверждая свои слова, он слегка провел рукой по ее щеке, подобно епископу, совершающему миропомазание.

— Но, господин шевалье, уверяю вас, что вы ошибаетесь и что...

Она покраснела, не смея продолжать: шевалье с одного взгляда угадал и раскрыл весь ее замысел.

— Да, понимаю, тебе хочется, чтобы я поверил! Ну что ж, верю! Но послушайся моего совета, ступай к господину дю Букье. Ведь, кажется, уже пять-шесть месяцев, как ты относишь ему белье? Ну, вот! Я не спрашиваю, что происходит между вами; но я его знаю, он самолюбив, холост, очень богат, у него две с половиной тысячи ливров ренты, а он не тратит и восьмисот. Если ты такая умница, как я предполагаю, то повидаешь Париж за его счет. Ступай, козочка, ступай, окрути его, главное, будь тонкой, как шелковинка, и на каждом слове делай двойную петлю с узлом: он из тех, кто боится скандала, и если он дал тебе повод ославить его, то... словом, ты понимаешь, пригрози ему, что обратишься с жалобой к дамам из благотворительного комитета. Кстати сказать, он честолюбив. Ну что ж! Мужчина может многого добиться с помощью жены. А разве ты недостаточно хороша, недостаточно умна, чтобы устроить благополучие своего супруга? Тьфу, пропасть! Да ты затмишь красою любую придворную даму.

Сюзанне, для которой последние слова шевалье были откровением, уже не терпелось побежать к дю Букье. Чтобы ее уход не показался чересчур поспешным, она, помогая шевалье одеваться, забросала его вопросами о Париже. Шевалье догадался, что его урок не прошел даром, и облегчил ей отступление, отослав ее к Цезарине с просьбой принести ему шоколад, который г-жа Лардо готовила для него каждое утро. Сюзанна упорхнула, спеша к своей жертве, чью биографию мы здесь и сообщим.

Дю Букье, принадлежавший к старинному алансонскому семейству, представлял собой нечто среднее между мелким буржуа и захудалым дворянином. Его отец служил по судебному ведомству, в должности уголовного судьи. Очутившись после его смерти без средств, дю Букье, как все разорившиеся провинциалы, поехал искать счастья в Париж. В начале революции он пустился в аферы. Вопреки стремлениям республиканцев, для которых непогрешимая революционная честность — излюбленный конек, дела тех лет были далеко не чисты. Игрок на бирже, политический шпион, поставщик, который заодно с синдиком общины конфисковывал имущество эмигрантов, чтобы самому потом купить и перепродать его, министр и генерал — все в равной мере погрязли в аферах. С 1793 по 1799 год дю Букье состоял подрядчиком по поставке провианта для французских армий. Тогда он и обзавелся великолепным особняком, стал одним из финансовых тузов, заключал денежные сделки на паях с Увраром, держал открытый дом и вел скандальное существование в духе того времени, жизнь Цинцинната[[13]](#footnote-13), собирающего мешки со злаками отнюдь не в поте лица своего, жизнь, которая изобиловала уворованными солдатскими пайками и увеселительными домиками с многочисленными содержанками, где задавались роскошные празднества в честь членов Директории. Гражданин дю Букье был свой человек у Барраса[[14]](#footnote-14), весьма хорош с Фуше, на короткой ноге с Бернадотом[[15]](#footnote-15) и, надеясь стать министром, переметнулся, очертя голову, к партии, которая вплоть до победы при Маренго втайне подкапывалась под Наполеона. Если бы не атака Келлермана, если бы не смерть Дезэ, г-н дю Букье стал бы великим государственным мужем. Он являлся одним из высших чиновников негласного правительства, которое счастливая звезда Наполеона заставила в 1793 году убраться за кулисы (см. «Темное дело»). Неожиданная победа при Маренго, дерзко вырванная из рук врага, принесла гибель этой партии, которая уже держала наготове отпечатанные воззвания с призывом вернуться к системе Горы на тот случай, если бы первый консул не устоял. Твердо убежденный, что Наполеону не восторжествовать, дю Букье вложил бóльшую часть своих денег в игру на понижение курса и держал двух гонцов на месте военных действий; один из них ускакал с поля битвы в тот момент, когда победа была на стороне Меласа[[16]](#footnote-16), но четыре часа спустя, ночью, примчался второй курьер с вестью о разгроме австрийцев. Дю Букье проклял Келлермана и Дезэ, но не посмел проклясть первого консула, который должен был ему миллионы. Резкий переход от расчетов на миллионные барыши к разорению лишил поставщика всех его умственных способностей; он на несколько дней превратился в идиота, так как настолько в своей жизни злоупотреблял всякими излишествами, что был не в силах выдержать этот громовой удар. Если бы государство ликвидировало свой долг поставщику дю Букье, это позволило бы ему кое-что получить; однако тут не помогли никакие подкупы, он натолкнулся на ненависть Наполеона ко всем тем поставщикам, которые делали ставку на его провал. Г-н де Фермон, так смешно прозванный *Фермон-Берегу-Карман*, оставил дю Букье без гроша. Безнравственность его частной жизни, связь этого поставщика с Баррасом и Бернадотом еще больше, чем его биржевые махинации, вызвали недовольство первого консула; когда, пустив в ход остатки своего влияния, дю Букье добился, чтобы его внесли в государственный список в качестве главноуправляющего окладными сборами по Алансону, Наполеон вычеркнул его имя. От всего громадного богатства у дю Букье уцелели лишь тысяча двести франков пожизненной ренты; этот вклад — чистейшая прихоть — спас его от нищеты. Не зная ничего о результатах ликвидации, кредиторы оставили ему тысячу ливров консолидированной ренты, но зато всем им было уплачено сполна после взыскания по долговым обязательствам и продажи особняка де Босеанов, принадлежавшего дю Букье. Так спекулянт, едва избежавший банкротства, сохранил свое имя незапятнанным.

Человек, разоренный первым консулом и окруженный громкой славой, которую создали ему близость его с руководителями прежних правительств, его образ жизни и кратковременная власть, заинтересовал город Алансон, где под шумок господствовал роялизм. Дю Букье, разъяренный против Бонапарта, рассказывающий о слабостях первого консула, о мотовстве Жозефины и о не подлежащих разглашению эпизодах революционного десятилетия, был принят весьма благосклонно. Хотя к этому времени дю Букье было верных сорок лет, он держался тридцатишестилетним холостяком; при среднем росте он был тучен, как истый поставщик, у него были выпуклые икры, словно у какого-то молодцеватого прокурора, резкие черты лица, приплюснутый нос с волосатыми ноздрями, черные глаза, бросающие из-под густых бровей взор проницательный, как у Талейрана, правда, уже несколько потускневший; он сохранил республиканские бакенбарды, а свою темную шевелюру отпустил до плеч. Его широкие руки с пучками волос на суставах пальцев и вздутыми синими жилами свидетельствовали о великолепно развитой мускулатуре. К тому же у него была мощная грудь, как у Геркулеса Фарнезского, а плечи его могли бы служить опорой колеблющейся государственной ренте. Нынче такие плечи увидишь разве что в кафе Тортони. Этот избыток физической силы был превосходно определен одним выражением, употребительным в минувшем столетии, а теперь едва ли кому известным: согласно галантному стилю недавнего прошлого, дю Букье сошел бы за настоящего *возместителя чужих недоимок*. Но, как и у шевалье де Валуа, у дю Букье тоже были симптомы, которые шли вразрез со всем его общим видом. Так, голос бывшего поставщика не соответствовал его мускулатуре: не то чтобы он походил на слабенький писк, какой подчас издает горло таких вот двуногих тюленей, — наоборот, это был голос сильный, но глухой, передать который может лишь звук пилы, врезающейся в мягкое сырое дерево; словом, голос загнанного спекулянта.

Дю Букье долго еще носил костюм, модный в дни его славы: сапоги с отворотами, белые шелковые чулки, короткие панталоны из рубчатого сукна коричневого цвета, жилет а ля Робеспьер и синий фрак. Несмотря на то, что ненависть первого консула придавала ему особые преимущества в глазах провинциальной роялистской знати, г-н дю Букье так и не был принят в семи-восьми семействах, составлявших своего рода Сен-Жерменское предместье Алансона, куда был вхож шевалье де Валуа. Он попытался с места в карьер предложить руку мадемуазель Арманде, сестре одного из наиболее уважаемых в городе аристократов, который, по расчетам дю Букье, мог бы в дальнейшем очень помочь осуществлению его замыслов, ибо поставщик мечтал о блестящем реванше. Он был отвергнут. Дю Букье утешился, вознагражденный расположением, какое выказывал ему десяток богатых семейств, тех, что в былые годы изготовляли алансонские кружева, владели пастбищами или племенными быками, занимались оптовой торговлей полотном, — здесь ему могла подвернуться хорошая партия. Старый холостяк не шутя сосредоточил все свои надежды на перспективе удачного брака, и его разнообразные способности, казалось бы, давали ему основание рассчитывать на это, ибо он был не лишен известной оборотистости финансового дельца, которая многим сослужила службу. Подобно разорившемуся игроку, руководящему новичками, дю Букье намечал спекуляции, как знаток дела рассуждал о средствах, о шансах, о способах осуществления сделок. Он слыл хорошим администратором; часто вставал вопрос, не выбрать ли дю Букье мэром Алансона; но этому мешали его памятные всем шашни с республиканскими правительствами, он ни разу не был принят в префектуре. Все сменявшие друг друга правительства, даже правительство Ста дней, отказывались утвердить его алансонским мэром — вожделенный пост, ибо от него, по-видимому, зависел брак дю Букье с одной старой девой, на которой он в конце концов сосредоточил все свои надежды.

Отвращение к императорскому правительству сначала толкнуло дю Букье в роялистскую партию, где он оставался, невзирая на постоянные оскорбления; но когда, с первым возвращением Бурбонов, он, не без участия префектуры, был исключен из роялистской партии, этот новый отпор внушил ему ненависть к королевской династии, столь же глубокую, сколь затаенную, ибо бывший поставщик наружно сохранял верность роялизму. Он тайно возглавил либеральную партию Алансона, незримо управлял выборами и при помощи ловко скрытых подвохов и вероломных происков стал страшным бичом Реставрации. Как все, кому только и осталось, что жить рассудительно, дю Букье придавал своей злобе безмятежность ручейка, едва приметного на взгляд, но неистощимого. Его ненависть, подобно ненависти дикаря, была так тиха, так терпелива, что вводила врага в заблуждение. Никакая победа не могла насытить его месть, которую он вынашивал целых пятнадцать лет, даже июльские дни 1830 года не были для нее достаточным торжеством.

Шевалье де Валуа не без умысла направил Сюзанну к дю Букье. Либерал и роялист разгадали друг друга, несмотря на то, что с великим искусством скрывали от всего города свои одинаковые намерения. Два старых холостяка были соперниками. Оба они составили себе план женитьбы на той самой девице Кормон, которую г-н де Валуа упомянул в разговоре с Сюзанной. Оба, прикрывая свои замыслы напускной безучастностью, подстерегали случай прибрать к рукам приданое старой девы. Так что даже если бы этих холостяков не разделяло несходство их политических симпатий, то одно лишь соперничество сделало бы их врагами. Люди принимают окраску той эпохи, которая их создала. Мужи эти подтверждали правильность данной аксиомы противоположностью своей исторической окраски, отмечавшей их лица и речи, их взгляды и костюмы. Один — крутого нрава, энергичный, размашистый и порывистый в движениях, с грубой, отрывистой речью, смуглый, темноволосый, темноглазый, с виду грозный, в действительности бессильный, как бунт, — был истинным порождением Республики. Другой — мягкий и учтивый, элегантный, холеный, стремящийся к намеченной цели при помощи медленно, но безошибочно действующих средств дипломатии, неизменно тактичный — был воплощением всех свойств старинного царедворца. Эти два недруга встречались почти каждый вечер на одном и том же поле боя. Шевалье вел войну благодушно, по-рыцарски, а г-н дю Букье церемонился меньше, однако пребывал в рамках благопристойности, установленной светом, ибо ему нисколько не улыбалось быть выбитым из занятой позиции. Они-то видели друг друга насквозь. Но в городе, несмотря на свойственную провинциалам удивительную способность к выслеживанию, которую они обращают на все, даже на самые незначительные мелочи окружающей жизни, никто не заподозрил соперничества между этими двумя женихами. Шевалье был в более выгодном положении: он никогда не просил руки мадемуазель Кормон, тогда как дю Букье, потерпев фиаско в самом именитом доме края, примкнул к числу искателей ее руки и получил отказ. Но, очевидно, шевалье приписывал своему сопернику еще довольно большие шансы на успех, если нанес ему сильный удар из-за угла таким отравленным и отточенным клинком, каким была Сюзанна. Шевалье забросил лот в воды Дю Букье и, как это скоро будет видно, не ошибся ни в одном из своих предположений.

Сюзанна понеслась, не чуя под собою ног, с улицы дю Кур, по улицам Порт де Сеэз и дю Беркай, на улицу Синь, где дю Букье пять лет тому назад приобрел провинциальный домик, сложенный из серого песчаника, который похож на нормандский гранитный бут или бретонский сланец. Бывший поставщик устроился комфортабельней кого бы то ни было в городе, ибо у него от прежнего великолепия уцелела кое-какая мебель; но под неприметным воздействием захолустного быта померк блеск павшего Сарданапала. Следы былой роскоши в его доме были так же уместны, как драгоценная люстра на гумне. И в крупном и в мелком здесь не хватало того, что связывает в одно целое все творения божеских и человеческих рук, — гармонии. На прекрасном комоде стоял кувшин для воды с крышкой — из тех кувшинов, что можно увидеть только поблизости от Бретани. Пол был устлан чудесным ковром, но на окнах пестрели разводами занавески из дешевого набивного коленкора. Камин из грубо разрисованного камня был совсем не под стать превосходным часам, посрамленным к тому же соседством жалких подсвечников. Лестница, по которой все поднимались не обтирая ног, не была окрашена. Наконец двери, аляповато расписанные местным маляром, оскорбляли глаз кричащими красками. Подобно всей эпохе, представителем которой был дю Букье, дом этот являл собой беспорядочную груду всякого дрянного хлама и изумительных ценностей. Дю Букье, который считался человеком зажиточным, вел, как и шевалье, паразитический образ жизни; а тот всегда богат, кто не тратит своего дохода. Вся челядь его состояла из одного деревенского мальчишки, своего рода Жокриса[[17]](#footnote-17), порядком бестолкового, не скоро приспособившегося к требованиям дю Букье, который обучил его, точно орангутанга, натирать полы, сметать пыль с мебели, чистить обувь и одежду, а по вечерам, когда дю Букье бывал в гостях, приходить за ним, в пасмурную погоду — только с фонарем, в дождливую — еще и с деревянными башмаками. Как это свойственно некоторым существам, способностей у этого малого хватало только на один порок: он был обжора. Нередко, когда где-нибудь давали парадный обед, дю Букье заставлял его сменять на ливрею короткую куртку из синей в клетку бумажной материи с широкими карманами, которые оттопыривались от носового платка, складного ножа, какого-нибудь плода или сдобной плюшки, и уводил его прислуживать. Вот когда Ренэ наедался в людской до отвала! Обратив для него исполнение обязанностей в награду, дю Букье заручился гробовым молчанием своего слуги-бретонца.

— Никак вы к нам, барышня? — произнес Ренэ, завидев входящую Сюзанну. — Нынче же не ваш день, у нас и белья-то нет для госпожи Лардо.

— Толстый олух! — со смехом отозвалась Сюзанна.

Хорошенькая девушка поднялась наверх, оставив Ренэ доедать миску молочной гречневой каши. Дю Букье, еще лежа в постели, обмозговывал планы своего обогащения, ибо ему были доступны теперь одни лишь честолюбивые мечты, как всем, кто на своем веку в избытке срывал цветы удовольствий. Честолюбие и азарт неисчерпаемы. Поэтому у человека нормального склада головные страсти долговечнее страстей сердца.

— Вот и я! — провозгласила Сюзанна, усаживаясь на кровать, и властным движением так резко раздвинула полог, что кольца завизжали на железных прутьях.

— С чем пришла, милочка? — произнес старый холостяк, садясь в постели.

— Сударь, — торжественно проговорила Сюзанна, — вы, конечно, удивлены, что я ворвалась к вам; но я попала в такое положение, когда уж не беспокоишься о том, что о тебе скажут.

— Как так? В чем дело? — спросил дю Букье, скрестив на груди руки.

— Неужели вы не понимаете? — промолвила Сюзанна. — Я знаю, — продолжала она, скорчив премилую гримаску, — как смешна и назойлива в глазах мужчины бедная девушка, когда ее приводит к нему то, на что вашему брату наплевать. Но, сударь, познакомившись со мной поближе, узнав, что я готова совершить ради человека, который ответил бы мне такой же привязанностью, какую я могла бы, например, почувствовать к вам, — вы бы не пожалели, что женились на мне. Нечего говорить, конечно, здесь я мало могу вам быть полезной; но если бы нам с вами отправиться в Париж, я бы вам показала, как я способна содействовать карьере мужчины с вашим умом и средствами особенно сейчас, когда все правительство сверху донизу перекраивается и когда повсюду и везде хозяйничают иностранцы. Словом, между нами говоря, разве то, о чем идет речь, — несчастье? А быть может, это счастье, за которое в один прекрасный день вы бы многое дали. Ну, для кого вам жить? Для кого работать?

— Для кого же, как не для себя! — буркнул дю Букье.

— Старое чудовище, вам никогда не быть отцом! — изрекла Сюзанна, придав своим словам оттенок грозного пророчества.

— Полно, Сюзанна, не глупи, — возразил дю Букье, — мне так и кажется, что это все сон.

— Какой же яви вам еще надобно? — воскликнула Сюзанна, встав во весь рост.

Дю Букье, оторопев, повернул ночной колпак на голове с такой силой, которая явно указывала на необычайную работу мысли.

«Да он никак поверил, — подумала про себя Сюзанна, — и даже польщен! Боже ты мой, до чего этих мужчин легко обвести вокруг пальца!»

— Сюзанна, чего же ты от меня хочешь, черт возьми! Все это так странно... А я-то думал... А на деле... Но нет же, нет, быть не может!..

— Как! Вы не можете на мне жениться?

— Ах, вот что! Нет уж, извини, у меня есть обязательства.

— Не по отношению ли к мадемуазель Арманде или мадемуазель Кормон, которые вас уже один раз отставили? Послушайте, господин дю Букье, я не нуждаюсь для защиты своей чести в жандармах, которые потащили бы вас в мэрию. Я не останусь без мужа и сама знать не хочу того, кто не сумел оценить меня по достоинству. Но смотрите, как бы не пришлось вам в один прекрасный день раскаяться в своем поступке, потому что ни серебром, ни золотом вы не заставите меня отдать вам ваше достояние, раз вы нынче от него отказываетесь.

— Но, Сюзанна, почему ты думаешь, что это...

— Ах, сударь! — перебила его гризетка, драпируясь в мантию добродетели. — За кого вы меня принимаете? Я же не напоминаю вам ваших обещаний, хотя они-то и сгубили меня, бедную девушку, вся вина которой лишь в том, что она жаждет успеха не меньше, чем любви.

Дю Букье находился во власти множества разноречивых побуждений — радости, недоверия, расчетливости. Он с давних пор решил жениться на мадемуазель Кормон, ибо Хартия, о которой он только что раздумывал, открывала его честолюбию великолепную политическую карьеру депутата. А ведь брак со старой девой должен был вознести его так высоко, что он стал бы влиятельнейшим лицом города. Вот почему буря, поднятая коварной Сюзанной, повергла дю Букье в сильнейшее замешательство. Если бы не его заветная мечта, он, не задумываясь, женился бы на Сюзанне. Он бы открыто возглавил либеральную партию Алансона. Заключив подобный брачный союз, он тем самым отказался бы от высшего общества, чтобы снова примкнуть к буржуазному классу — купцам, богатым фабрикантам, владельцам пастбищ, которые, надо думать, подняли бы его на щит, как своего кандидата. Дю Букье уже предвидел значение партии левых. Он не скрывал, что предается многозначительным размышлениям, и, проводя рукой по голове, совсем сбил ночной колпак, прикрывавший лысину. Как это бывает со всеми, кто достиг большего, чем хотел и ожидал, Сюзанна была ошеломлена. Чтобы не выдать своего изумления, она приняла грустную позу, подобающую девушке, обманутой своим обольстителем; но в душе она хохотала, как хохочет подгулявшая гризетка.

— Нет, детка, тебе не поймать меня в эту мышеловку, не на таковского напала!

Так коротко и ясно заключил свои размышления бывший поставщик. Дю Букье кичился тем, что принадлежит к школе философов-циников, которые, не желая стать *добычей* женщин, относят их всех к одной категории *подозрительных*. У этих твердолобых и в большинстве случаев мягкотелых мужчин имеются применительно к женщинам свои собственные заповеди. В их глазах они все, от королевы Франции до скромной модистки, по существу своему, распутницы, негодяйки и убийцы, и мало того — нечисты на руку, насквозь лживы, не способны ни о чем думать, кроме пустяков. Для этих людей женщины не более чем злонравные баядерки, которым лучше всего предоставить петь, плясать и смеяться; в женщинах они не видят ничего святого, ничего возвышенного, для них не существует поэзии чувств, а только одна грубая чувственность. Они — как те обжоры, которым не отличить кухни от столовой. Согласно их уставу, если женщину не тиранить на каждом шагу, она превратит мужчину в раба. Дю Букье был и в этом отношении полной противоположностью шевалье де Валуа. Произнеся последние слова, поставщик швырнул свой колпак в другой конец кровати движением, подобным тому, каким папа Григорий опрокинул бы зажженную свечу, изрекая грозную анафему, и тут Сюзанна узрела, что хохолок, украшавший череп старого холостяка, был накладным.

— Помните же, господин дю Букье, — величественно ответила Сюзанна, — что, придя к вам, я выполнила свой долг; помните, что я была обязана предложить вам свою руку и просить вашей; но не забудьте также, что в моих поступках не было ничего недостойного уважающей себя женщины: я не унизилась до того, чтобы плакать, как дурочка, я не настаивала, не надоедала вам. Теперь вы знаете мое положение. Надо ли говорить, что я не могу оставаться в Алансоне; матушка меня изобьет, а госпожа Лардо, которая кричит повсюду о нравственности, точно весь век разглаживает ее своими утюгами, — та просто выгонит. Что ждет меня, бедную работницу? Больница? Сума? Нет! Лучше головой в воду — в Бриллианту или Сарту. Но не проще ли уехать в Париж? Мать найдет предлог для моего отъезда — какого-нибудь дядюшку, которому не терпится меня видеть, тетушку, которая в гроб глядит, благодетельницу, которой угодно вывести меня в люди. Остановка только за деньгами на проезд и на то, что вам известно...

Новость, сообщенная Сюзанной, имела для дю Букье в тысячу раз большее значение, чем для г-на де Валуа, а почему — знал только он да шевалье, и этой тайне предстояло быть разоблаченной лишь при развязке настоящей повести. Пока достаточно сказать, что выдумка Сюзанны произвела полную сумятицу в голове старого холостяка и он был не в состоянии все зрело обдумать. Не будь он в душе смущен и обрадован, — ибо польщенное самолюбие обратит всякого в простофилю, — он бы, верно, смекнул, что на месте Сюзанны любая порядочная девушка, с сердцем еще не тронутым, скорее согласилась бы сто раз умереть, чем завести подобный разговор, да еще спрашивать денег. Он бы подметил во взгляде гризетки хищную низость игрока, который готов на убийство, лишь было бы что поставить на карту.

— Значит, ты не прочь проехать в Париж? — спросил дю Букье.

При этом вопросе молния радости позолотила серые глаза Сюзанны, но счастливец дю Букье ничего не заметил.

— Ну да, сударь!

Поставщик стал плакаться на всевозможные нелепые затруднения: он только что уплатил последний взнос за дом, ему еще надо расквитаться с маляром, каменщиком, столяром. Но Сюзанна не прерывала его, она ждала, чтобы он назвал цифру. Дю Букье предложил сто экю. Сюзанна прибегла к тому, что на театральном языке называется *ложным выходом*: она направилась к двери.

— Но куда же ты? — забеспокоился дю Букье. «Вот они, холостяцкие радости, — подумал он. — Черт меня побери, я как будто ни сном ни духом не виноват!.. А нате вам! Достаточно было с ней пошутить, и, извольте видеть, она подает на вас вексель ко взысканию».

— Раз так, сударь, — молвила Сюзанна сквозь слезы, — я иду к госпоже Грансон, казначее Общества вспомоществования матерям. Я знаю, она чуть ли не из воды вытащила одну несчастную девушку, попавшую в такую же беду.

— К госпоже Грансон?!

— Да, — сказала Сюзанна, — к родственнице мадемуазель Кормон, председательницы Общества вспомоществования матерям. Не во гнев вам будет сказано, дамы нашего города основали заведение, которое впредь не допустит, чтобы бедные девушки убивали своих младенцев и сами уходили в могилу, как то произошло, тому уже три года, в Мортани с красавицей Фаустиной из Аржантана.

— На, Сюзанна, — сказал дю Букье, протягивая ей ключ, — отопри сама секретер и возьми оттуда уже початый мешочек, в нем еще осталось шестьсот франков — больше у меня нет.

Старый поставщик всем своим убитым видом показал, с какой неохотой он покоряется этой печальной необходимости.

«Старый сквалыга! — подумала Сюзанна. — Погоди, я расскажу про твой парик».

Она сравнивала дю Букье с обаятельным шевалье де Валуа, который, правда, ничего ей не дал, но понял ее, поддержал советом и вообще так сердечно относился к гризеткам.

— Сюзанна, если ты меня обманываешь, — воскликнул дю Букье, увидев, что она запустила руку в ящик, — ты...

— Зачем мне обманывать, сударь? — перебила она его с царственной надменностью. — Ведь вы же дали бы мне эти деньги и так, стоило бы мне только попросить.

Раз уж его подобным образом призвали к галантности, поставщику ничего не оставалось, как вспомнить свои золотые денечки, и он проворчал в знак согласия что-то нечленораздельное. Сюзанна взяла мешочек и вышла, милостиво подставив старому холостяку лоб, и дю Букье коснулся его поцелуем с таким видом, точно хотел сказать: «Вот право, которое мне дорого обошлось. Но все же это лучше, чем услышать, как на суде какой-нибудь адвокатишка заклеймит тебя именем соблазнителя девушки, обвиняемой в детоубийстве».

Сюзанна спрятала мешочек в некое подобие плетеного ивового ягдташа, висевшее у нее на руке, и прокляла скупость дю Букье, потому что хотела получить тысячу франков. Стоит девушке, которую обуял бес, вступить на стезю плутовства, и она уж не знает удержу. Шагая по улице дю Беркай, хорошенькая гладильщица думала о том, что может статься, Общество вспомоществования матерям, возглавляемое мадемуазель Кормон, пополнит сумму, ассигнованную девушкой на свои путевые издержки, для алансонской гризетки довольно значительную. А к тому же она ненавидела дю Букье. Ей показалось, что холостяк побаивается, как бы слух о его мнимом преступлении не дошел до ушей г-жи Грансон; и вот, хотя Сюзанна рассудила, что, вероятно, не получит ни гроша от Общества вспомоществования, она захотела все же, покидая Алансон, опутать бывшего поставщика сетями провинциальной сплетни. В каждой гризетке всегда найдется некая толика обезьяньего коварства. Итак, напустив на себя скорбный вид, Сюзанна вошла в дом г-жи Грансон.

Госпожа Грансон, вдова артиллерийского подполковника, павшего под Иеной, была обладательницей всего лишь жалкой вдовьей пенсии в девятьсот франков, личной ренты в сто экю и единственного сына, которого она выкормила и воспитала, истратив на это все свои сбережения. Она жила на улице дю Беркай, в нижнем этаже унылого дома, одного из тех, которых путник, проезжая по главной улице любого провинциального городишки, может охватить одним взглядом. Три пирамидально расположенные ступени вели к боковой дверце; коридор, в конце которого находилась лестница, крытая наподобие деревянной галереи, выходил во внутренний дворик. По одну сторону коридора были расположены столовая и кухня, по другую — гостиная, на все случаи жизни, и спальня вдовы. Атаназ Грансон, молодой человек двадцати трех лет, ютившийся в мансарде над вторым этажом этого дома, вносил в убогое хозяйство своей матери шестьсот франков, получаемых в мэрии, где он занимался записью актов гражданского состояния — скромная должность, добытая при содействии мадемуазель Кормон, его влиятельной родственницы. Все сказанное позволяет каждому представить себе, как г-жа Грансон в своей нетопленной гостиной с желтыми занавесками, с мебелью, обитой желтым трипом, расправляет, бывало, после ухода гостей маленькие соломенные половички, разостланные перед каждым стулом для того, чтобы не грязнился красный навощенный пол; как, взяв с рабочего столика свое рукоделие, она снова опускается в обложенное подушками кресло, под портретом артиллерийского подполковника, в простенке между двух окон — местечко, откуда ей видна вся улица дю Беркай, каждый прохожий и проезжий. Это была старушка, одетая с мещанской непритязательностью, в соответствии с ее бледным, как бы истаявшим от горя лицом. В каждой мелочи, во всей обстановке этого дома сквозила суровая простота нищеты и вместе с тем чувствовались честные и строгие нравы провинции. В настоящую минуту мать и сын завтракали вдвоем в столовой — чашкой кофе и редиской с маслом. Чтобы стало понятным, какое удовольствие должен был доставить г-же Грансон приход Сюзанны, нужно раскрыть тайные помыслы матери и сына.

Атаназ Грансон был юноша среднего роста, худой и бледный, со впалыми щеками; черные, как уголь, глаза его искрились мыслью. Не совсем правильные черты, извилины рта, сильно выдававшийся вперед подбородок и словно изваянный из мрамора прекрасный лоб, грустная задумчивость, порожденная сознанием своей нищеты, столь противоречившей силам, какие он в себе ощущал, — все обнаруживало в нем талантливого человека, связанного по рукам и ногам. Да, где угодно, только не в Алансоне, такая внешность доставила бы ему поддержку влиятельных людей или женщин, у которых есть дар угадывать скрытую гениальность. Если это не был гений, то это была форма, в какую он облекается; если это не была сила великого духа, то это был отблеск ее, отраженный во взоре. Хотя Атаназ был наделен самыми возвышенными чувствами, застенчивость убийственными путами связывала в нем все — даже очарование юности, так же как нужда своим холодом сковывала порывы его дерзаний. Провинциальная жизнь, безысходная, не радующая ни похвалой, ни поощрением, очертила замкнутый круг, в котором угасала его мысль, — а ее заря еще даже не занялась. К тому же в Атаназе была нелюдимая гордость избранных натур, которая из-за бедности приходит еще в особое возбуждение и поднимает их силы в борьбе с людьми и обстоятельствами, но в начале поприща препятствует их продвижению. Гений действует двумя способами: либо он, подобно Наполеону и Мольеру, берет свое достояние, едва завидит его; либо, проявив себя, терпеливо ждет, когда о нем вспомнят. Молодой Грансон принадлежал к разряду одаренных людей, которые, не зная себе цены, легко падают духом. По натуре он был созерцатель и жил больше мыслью, чем действием. Пожалуй, он показался бы нецельным тому, кто не признает гения без искрометных страстей на французский лад; но его внутренний мир был богат, и бурные чувства, скрытые от окружающих его пошлых людей, могли придать ему ту внезапную решимость, которая приводит к роковой развязке и позволяет глупцам утверждать: *Он безумец!* Презрение, каким свет обдает нищету, убивало Атаназа; изнурительный жар одиночества, без притока свежего воздуха, ослаблял у его воли тетиву, которую приходилось снова и снова натягивать, и от этой ужасной, бесплодной игры уставала душа. Атаназ мог бы стать в один ряд с прославленными светилами Франции; но орлу, запертому в клетку и лишенному пищи, предстояло умереть голодной смертью, насмотревшись пылающим взором на альпийские вершины и воздушные просторы, где парит гений. Хотя его занятия в городской библиотеке остались никем не замеченными, он все же затаил в душе свои мечты о славе, ибо они могли ему повредить; но еще глубже схоронил он тайну своего сердца — страсть, от которой у него ввалились щеки и пожелтел лоб. Он любил свою дальнюю родственницу, ту самую девицу Кормон, которую подстерегали шевалье де Валуа и дю Букье, его неведомые соперники. Первоначально любовь эта зародилась из расчета. Мадемуазель Кормон считалась одной из первых богачек города, так что бедного юношу привели к любви жажда материального благополучия, тысячу раз поднимавшееся в душе желание усладить старость матери, потребность в достатке, необходимом для людей, живущих мыслью; но такой источник страсти, в конце концов весьма безобидный, заставлял его стыдиться собственных чувств. Кроме того, он боялся, что общество осмеет любовь двадцатитрехлетнего юноши к сорокалетней девушке. Тем не менее страсть его была неподдельной; ибо то, что повсюду в делах подобного рода может показаться надуманным, в провинции вполне жизненно. И впрямь, тамошний уклад жизни, не знающий ни случайностей, ни перемен, ни тайн, делает брак необходимостью. Ни одна семья не примет к себе молодого вертопраха. Пусть в столице любовная связь такого юноши, как Атаназ, с прелестницей, подобной Сюзанне, показалась бы вполне естественной, но в провинции она отпугивает всех и наперед расстраивает всякую возможность брака для бедняка, хотя, конечно, денежки богатых женихов заставляют смотреть сквозь пальцы на их досадное прошлое. Тот, у кого нет средств, но есть сердце, не станет колебаться в выборе между распутством и чистой любовью: он предпочтет страдать от добродетели, нежели от порока. Но в провинции молодому человеку не легко встретить женщину, увлечься которой ему было бы дозволено; в краю, где все основано на расчете, к богатой красавице ему не подступиться; бедную красавицу ему запрещено любить: как говорят в таких случаях провинциалы, это означало бы повенчать горе с бедою; а следует заметить, что монашеское одиночество крайне опасно в юности. Этими обстоятельствами объясняется, почему провинциальная жизнь так прочно основана на браке. Поэтому живые и пылкие гении, принужденные искать опору в независимости бедняка, все до одного должны покидать эти холодные пределы, где мысль преследуется с грубым равнодушием, где человеку науки или искусства не найти женщины, которая могла бы и захотела бы стать для него сестрой милосердия. Кто поймет страсть Атаназа к мадемуазель Кормон? Конечно, не богачи — эти султаны нашего общества, где к их услугам целые гаремы, и не мещане, которые следуют большой дорогой, проторенной предрассудками, и не женщины, которые, не желая ничего знать о страстности художественных натур, требуют, чтобы они искали для себя отрады в сознании своей добродетели, и воображают, что оба пола подчинены одним и тем же законам. Пожалуй, здесь уместно обратиться к юношам, снедаемым мукой первых страстей, которую им приходится подавлять именно в ту пору жизни, когда все силы бьют через край; к художникам, страдающим за свой талант, задушенный в объятиях нужды; к даровитым людям, сначала испытавшим гонения, лишенным поддержки, а зачастую и друзей и в конце концов вышедшим победителями над неудовлетворенностью, душевной и телесной, что одинаково тяжело. Тот, кому, по собственному опыту, хорошо знакома мучительная боль, терзавшая Атаназа; тот, кто, поставив себе цель, столь грандиозную, что нет возможности ее достигнуть, погружался в долгое и жестокое раздумье, — вот кто испытал никому не ведомые неудачи талантливого человека, сеющего зерна на бесплодном песке, вот кто хорошо знает, что сила желаний соразмерна богатству воображения. Чем выше взлет, тем ниже падение; и сколько при этом разбивается уз! Подобно Атаназу, они верили, что их ждет блестящее будущее, они проникли туда своим острым взором и думали, что от успеха отделяла их только прозрачная завеса; но эту незримую завесу общество превратило в железную стену. Понуждаемые призванием, любовью к искусству, они тоже неоднократно пытались извлечь для себя пользу из чувств, которые общество непрестанно подчиняет своим материальным расчетам. Как же так! Провинциальные обыватели заключают выгодные браки, заботясь о своем процветании, а бедному художнику или ученому запрещено ставить перед браком двойную цель — обеспечить достаток, необходимый для жизни, и тем самым поддержать творческую мысль? Волнуемый подобными думами, Атаназ Грансон сперва видел в женитьбе на мадемуазель Кормон способ устроить свою жизнь, упрочить свое положение; он получил бы возможность устремиться к славе, осчастливить мать, а что он способен преданно любить мадемуазель Кормон — это он знал. Вскоре из этих намерений, неожиданно для него самого, возникла истинная страсть: он принялся изучать старую деву и под властным воздействием привычки кончил тем, что перестал видеть в мадемуазель Кормон ее недостатки и стал находить одни лишь привлекательные черты. В любви двадцатитрехлетнего юноши чувственность занимает большое место! Из чувственного пыла возникает некая призма, сквозь которую глядят на избранницу. В этом отношении сцена у Бомарше, где Керубино хватает в объятия Марселину, просто гениальна. И вот, если подумать, что в глубоком одиночестве, на которое обрекала Атаназа нищета, мадемуазель Кормон была единственной женщиной, доступной его взору, что она постоянно привлекала к себе его взгляд, что на нее падало самое яркое освещение, — не покажется ли эта страсть вполне естественной? Глубоко затаенное чувство должно было расти день ото дня. Подобно тому, как в озеро ежечасно по капле прибывает вода, так, в тиши и безмолвии, душу Атаназа наполняли муки, желания, надежды и думы. Чем шире раздвигался круг, очерченный в его душе воображением, поддержанный чувствами, тем величественнее казалась Атаназу мадемуазель Кормон, а робость его еще возрастала. Мать догадалась обо всем. Как истая провинциалка, она в простоте душевной уже прикидывала про себя все выгоды подобного союза. Она думала, что мадемуазель Кормон почла бы за счастье избрать себе мужем двадцатитрехлетнего исполненного талантов юношу, который прославил бы свою семью, да и весь край; но бедность Атаназа и лета девицы Кормон казались старушке непреодолимым препятствием: против него она ничего не могла придумать и полагалась только на терпение. Так же как у дю Букье, как у шевалье де Валуа, у нее была своя тактика, она подстерегала удобный случай, выжидала благоприятного часа со всей хитростью, какую может подсказать стремление к выгоде и материнская любовь. Г-жа Грансон ничуть не опасалась шевалье де Валуа; но она подозревала, что дю Букье, хотя и отвергнутый, не отказался от своих домогательств. Ловкий и скрытный враг старого поставщика, г-жа Грансон причиняла ему неслыханный вред, действуя на благо своему сыну, которому, впрочем, даже не заикнулась о своих происках. Кому же теперь не ясно, какое значение должен был приобрести вымысел Сюзанны, коль скоро она поведала бы его г-же Грансон? Что за оружие окажется в руках почтенной дамы-благотворительницы, казначеи Общества вспомоществования матерям! Как медоточиво станет она разглашать повсюду эту новость, собирая пожертвования для стыдливой Сюзанны!

В описываемое утро Атаназ, задумчиво облокотившись на стол, помешивал чайной ложечкой в пустой чашке, скользя озабоченным взглядом по убогой столовой — по красному полу, по стульям с соломенными сиденьями, по буфету из простого крашеного дерева, по занавескам в розовую и белую клетку, напоминавшим шахматную доску, по стенам, оклеенным выцветшими трактирными обоями, и по стеклянной двери, соединявшей эту комнату с кухней. Так как он сидел лицом к матери и спиной к камину, почти напротив двери, то перед взором Сюзанны нежданно предстало его бледное лицо, ярко освещенное светом, падавшим из окна, и обрамленное черными кудрями, его глаза, одушевленные отчаянием, горевшие огнем горького раздумья. Гризетка, наделенная безошибочным чутьем к нужде и сердечным мукам, почувствовала укол той электрической искры, происхождение которой никому не известно, ничем не объяснимо и которую иные вольнодумцы отрицают, хотя немало мужчин и женщин испытали на себе ее таинственный толчок. Это в одно и то же время — и луч, прорезывающий мрак грядущего, и предчувствие чистых радостей разделенной любви, и уверенность в обоюдном понимании. И это, прежде всего, как бы искусный и сильный удар мастерской руки по клавиатуре чувств. Взгляд заворожен неотразимым влечением, сердце взволновано, в душе и в ушах звучат напевы счастья, какой-то голос провозглашает: — *Это он!* А затем разум почти всегда обдает кипучий порыв струей холодной воды, — и всему конец. Целый залп мыслей, мгновенный, как удар грома, поразил Сюзанну в самое сердце. Молния истинной любви выжгла плевелы, разросшиеся под тлетворным веянием разврата и легкомыслия. Она поняла, сколько теряет в чистоте и в благородстве, позоря себя понапрасну. То, что накануне было в ее глазах не больше, чем шуткой, обернулось теперь в строгий приговор самой себе. Она готова была отказаться от будущих своих успехов. Но безысходность положения, бедность Атаназа, смутная надежда разбогатеть и, вернувшись из Парижа не с пустыми руками, сказать: «Я тебя давно люблю!» — сама судьба, если хотите, заставила иссякнуть этот благодатный дождь. Честолюбивая гризетка смиренно попросила г-жу Грансон уделить ей минутку для разговора, и та повела ее в свою спальню. Уходя, Сюзанна еще раз посмотрела на Атаназа, увидела его все в той же позе и подавила слезы. Что касается г-жи Грансон, то она сияла от радости! Наконец-то в ее руках очутилось грозное оружие против дю Букье, теперь ей ничего не стоило нанести ему смертельную рану. Разумеется, она пообещала несчастной соблазненной девушке поддержку всех дам-благотворительниц, всех жертвователей Общества вспомоществования матерям; она предвкушала занятие на целый день — дюжину визитов, благодаря которым над головой старого холостяка соберутся грозовые тучи. Г-н де Валуа, предвидя в общих чертах такой оборот дела, все же не надеялся, что оно вызовет столько шума.

— Милое дитя мое, — обратилась г-жа Грансон к сыну, — ты знаешь, что мы обедаем сегодня у мадемуазель Кормон, приоденься же немножко. Ты напрасно пренебрегаешь своим туалетом, ведь ты стал похож на какого-то воришку. Надень свою красивую сорочку с жабо и зеленый фрак эльбефского сукна. У меня есть на то свои основания, — добавила она лукаво. — К тому же мадемуазель Кормон уезжает в Пребоде, и у нее соберется много гостей. А когда молодому человеку приходит пора жениться, ему, чтобы понравиться, нужно выставлять себя в выгодном свете. Господи, если бы только девушки были откровенны, ты бы, сынок, удивился, узнав, как мало им нужно, чтобы влюбиться: подчас для этого достаточно мужчине только прогарцевать во главе артиллерийского отряда или явиться на бал в костюме, который ловко сидит на нем. Нередко по какому-нибудь повороту головы, по грустной, задумчивой позе строишь догадки о целой жизни; мы, женщины, сочиняем себе роман, исходя из внешности героя; сплошь да рядом герой — дурак дураком, а свадьба уже сыграна. Приглядись получше к шевалье де Валуа, изучи, заимствуй его манеры; посмотри, как непринужденно он держится в обществе, — в нем нет и следа натянутости, не то, что у тебя. Да будь немного поразговорчивее. Право, можно подумать, что ты круглый невежда, а ведь ты знаешь назубок такое, что для других — просто тарабарщина.

Атаназ выслушал мать с удивлением, но покорно, затем встал, взял фуражку и отправился в мэрию, раздумывая: «Неужели маменька угадала мою тайну?» Он прошел по улице дю Валь-Нобль, где жила мадемуазель Кормон, — небольшое развлечение, которое он позволял себе каждое утро, отдаваясь при этом тысяче безрассудных мыслей. «Она, конечно, и не подозревает, что в эту минуту мимо ее дома проходит молодой человек, готовый ее горячо любить, хранить ей верность и никогда не причинять огорчений; человек, готовый всецело предоставить ей распоряжаться ее имуществом! Боже мой! что за судьба! Двое людей живут в одном городе, в двух шагах друг от друга, состоят в родстве, и ничто не может их сблизить. А не объясниться ли мне с ней сегодня вечером?»

Между тем Сюзанна, возвращаясь к своей матери, не переставала думать о бедняге Атаназе; и как многие женщины, безгранично боготворящие любимого человека, она способна была бы пойти на то, чтобы ее красота стала для него ступенькой, с которой он мог бы дотянуться до венца славы.

Теперь необходимо зайти в дом старой девы, которая стала предметом стольких корыстных стремлений и должна была в этот вечер принимать у себя всех участников настоящей повести, исключая Сюзанну. Последняя, особа решительная и красивая, достаточно отважная, чтобы с первых шагов сжечь, подобно Александру Македонскому, свои корабли, начала борьбу с мнимого проступка, а затем сошла с алансонской сцены, немало поспособствовав напряженной занимательности действия. Кстати сказать, ее желания осуществились с лихвой. Она покинула родной город несколько дней спустя, снабженная деньгами и красивыми обносками, среди которых было прекрасное платье из зеленого репса и восхитительная зеленая шляпа с полями, подбитыми розовой тафтой — преподношение шевалье де Валуа, которое было ей дороже всего, даже денег, пожертвованных ей дамами из Общества вспомоществования матерям. Если бы шевалье приехал в Париж в пору ее блистательных успехов, она, безусловно, все бросила бы ради него. Уподобившись целомудренной библейской Сусанне, которую старцы едва узрели мельком, она, счастливая, исполненная надежд, устраивалась в Париже, пока весь Алансон оплакивал ее горести, к которым дамы обоих обществ — вспомоществования бедным и вспомоществования матерям — изъявляли живейшее сочувствие. Если Сюзанна может служить образчиком тех красавиц-нормандок, которые, по мнению одного ученого медика, составляют треть всех женщин известной категории, поглощаемых чудовищем Парижем, — она все же оставалась в самых высоких и благопристойных кругах полусвета. В эпоху, когда, как говорил г-н де Валуа, женщина перестала существовать, Сюзанна превратилась просто-напросто в *мадам дю Валь-Нобль*; в прежние времена она была бы соперницей всяких Родоп, Империй и Нинон. Один из самых выдающихся писателей Реставрации взял ее под свое покровительство; уж не женится ли он на ней? Ему, как журналисту, наплевать на общественное мнение, поскольку он каждые шесть лет самолично фабрикует новое.

Во Франции почти во всех второстепенных префектурах существует салон, где собираются почтенные и уважаемые лица, которые, тем не менее, не принадлежат к сливкам общества. Хозяин и хозяйка дома причисляются к городской верхушке, и перед ними открыты все двери, без них в городе не обходится ни одно празднество, ни один обед, данный с дипломатической целью; однако владельцы замков, пэры — обладатели обширных земель, высшая знать департамента не бывают у них запросто, ограничиваясь в отношении их обменом официальными визитами и обоюдным приглашением на обед или вечер. Такой смешанный салон, где сходятся местное мелкое дворянство, духовенство, судейские чины, пользуется большим влиянием. Разум и дух целого края сосредоточены в этом обществе, положительном, не чванном, где каждый знает доходы соседа, где исповедуют полнейшее равнодушие к роскошной обстановке и щегольскому платью, расценивая их как пустяки сравнительно с каким-нибудь *клочком* пастбища в десять — двенадцать арпанов, покупка которого обдумывалась годами и потребовала множества ловких ходов. Непоколебимый в своих предубеждениях, справедливых или несправедливых, этот кружок единомышленников следует по одному и тому же пути, не заглядывая вперед и не оборачиваясь назад. Он не принимает ничего парижского без длительной проверки, так же упорно отказывается от кашемировых шалей, как и от помещения капиталов в бумаги государственного казначейства, презирает новшества, ничего не читает и ничего не хочет знать: ни науки, ни литературы, ни промышленных изобретений. Кружок этот способен добиться смены префекта, который пришелся не ко двору; в случае если администратор в силах им противостоять, то кружок изолирует его по примеру пчел, которые покрывают воском улитку, заползшую в улей. Наконец здесь пересуды часто перерастают в торжественные приговоры. Поэтому, хотя гости здесь развлекаются только игрой в карты, все же молодые женщины от времени до времени появляются на этих вечерах; они приходят сюда за похвалой своему поведению, за признанием своего веса в обществе. Это первенство, пожалованное одному дому, частенько задевает самолюбие кое-кого из буржуа, но они утешаются, подсчитав, во что обходится такой салон, которым они пользуются даром. Если же среди горожан не оказывается состоятельного человека, которому было бы по карману держать открытый дом, местные важные шишки избирают для своих сборищ, как это и делали алансонцы, гостиную какой-нибудь безобидной особы, которая, в силу своего уклада жизни, характера или положения, предоставляет гостям у себя полную свободу, не заставляя настораживаться ничье тщеславие, ничьи интересы. Так влиятельное алансонское общество издавна собиралось у старой девы, на богатство которой без ее ведома метили г-жа Грансон — ее дальняя родственница — и оба старых холостяка, о чьих тайных надеждах нами только что было рассказано. Эта девица жила вместе со своим дядей с материнской стороны, в прошлом — главным викарием Сеэзской епархии, своим бывшим опекуном, после которого ей предстояло получить наследство. Семейство, единственной представительницей которого являлась в то время Роза-Мария-Виктория Кормон, исстари причислялось к самым уважаемым в провинции. Хотя и не дворянского происхождения, оно связано было с аристократией и нередко роднилось с нею; некогда оно поставляло управителей герцогам алансонским, судей — магистратуре и многочисленных епископов — церкви. Г-н де Спонд, дед мадемуазель Кормон с материнской стороны, был избран в Генеральные штаты от дворянства, а г-н Кормон, ее отец — от третьего сословия; однако и тот и другой отказались от своих полномочий. Почти все последнее столетие девицы этого дома выходили замуж за местных дворян, так что семья Кормон столь прочно *вросла* в Ангулемское герцогство, что обвивала здесь каждое генеалогическое древо. Никакие другие буржуа не походили в большей степени на аристократию.

Дом, в котором жила мадемуазель Кормон, был выстроен в царствование Генриха IV Пьером Кормоном, управителем последнего герцога Алансонского, и никогда не выходил из владения семьи Кормон, — из всех явных ценностей, принадлежавших старой деве, он с особенной силой вызывал вожделение обоих ее старых поклонников. Между тем особняк этот не приносил никакой прибыли — напротив, служил источником одних только расходов; но в провинции такая редкость жилище, расположенное в центре города и все же вдали от неприятного соседства, красивое снаружи, удобное внутри, что желание завладеть этим домом было бы понятно всему Алансону. Старый особняк помещался в самой середине улицы дю Валь-Нобль, искаженно называвшейся Дол Нобль, вероятно, из-за понижения почвы, размытой в этом месте Бриллиантой, крохотной речушкой, пересекающей город. Этот дом достоин внимания по той внушительной архитектуре, которую ввела Мария Медичи. Хотя он сложен из гранита, породы, трудно поддающейся обработке, его углы, наличники окон и дверей отделаны выпуклыми шишками с алмазной гранью. Здание это двухэтажное; на его чрезвычайно круто поднятой крыше выступают вперед окна с лепными фронтонами, довольно изящно прилаженными к кровельному желобу, обшитому изнутри свинцом и по наружной стороне украшенному балясинами. В каждом простенке между окнами высовываются пасти фантастических животных без туловища, служащие водостоками и изрыгающие дождевую воду на широкие каменные плиты с пробуравленными в них пятью отверстиями. Конек крыши с обоих концов украшен свинцовыми букетами — символом буржуазии, так как в старину одной лишь знати принадлежало право ставить флюгеры. Со стороны двора, направо, помещаются каретные сараи и конюшни; налево — кухня, дровяной сарай и прачечная. Одна створка ворот, в которой имелась калитка с колокольчиком и «глазком», оставалась отворенной, что позволяло прохожим видеть обширный двор с клумбой посредине, земляная насыпь которой окаймлялась низкой живой изгородью из бирючины. Несколько кустов роз, цветущих во все времена года, левкои, скабиозы, лилии и испанский дрок образовывали цветущую купу зелени, вокруг которой в летнее время расставлялись в кадках лавровые, гранатовые и миртовые деревья. Поразительная, доведенная до мелочности, чистота на этом дворе и во всех службах могла бы и заезжего человека навести на мысль, что здесь живет старая дева. Глаз, наблюдавший за этим хозяйством, очевидно, был глазом-блюстителем, досужим и придирчивым не столько по природе, сколько из потребности действия. Только старая дева, стремясь как-нибудь заполнить свой всегда праздный день, могла приказывать, чтобы выпалывали каждую травинку, пробившуюся между каменными плитами, и мыли гребень каменной ограды, требовать, чтоб двор непрестанно подметался, а кожаные занавеси каретного сарая ни на минуту не оставались незадернутыми. Только она была способна от нечего делать добиваться голландской опрятности в маленькой провинции, расположенной между Першем, Бретанью и Нормандией, областями, где спесиво проповедуют невежественное равнодушие к *комфорту*. Не было случая, чтобы, поднимаясь по ступеням, ведущим с двух сторон на площадку крыльца, шевалье де Валуа и дю Букье не подумали каждый про себя: один — что такой дом приличествовал бы пэру Франции, другой — что в нем следовало бы жить мэру города. С крыльца стеклянная дверь вела в прихожую, освещенную со стороны сада второй такой же дверью, выходившей на другой подъезд. Эта своего рода галерея, пол которой был выложен красными квадратными плитками, а стены обшиты панелью, высотою по грудь человека, представляла собою лазарет для увечных фамильных портретов: у одного был попорчен глаз, у другого — повреждено плечо; этот держал шляпу в уже не существующей руке, у того была ампутирована нога. Здесь гости оставляли плащи, деревянные башмаки, кожаные калоши и дождевые зонты, шапки, шубы. Это было хранилище, где каждый завсегдатай, приходя, складывал свою амуницию, чтобы, уходя, взять ее отсюда. Кроме того, по стенам были расставлены скамьи для слуг, которые являлись сюда с фонарями, а в углу была большая печь, которую топили из-за холодного ветра, дувшего разом и со двора и из сада. Таким образом, дом был разделен на две равные части. В одной половине, со стороны двора, находилась лестница во второй этаж, большая столовая, выходившая в сад, затем буфетная, сообщавшаяся с кухней; в другой половине — гостиная в четыре окна и две маленькие комнатки за нею — будуар окнами в сад и кабинет окнами во двор. Второй этаж включал в себя полную семейную квартиру, а также покои старого аббата де Спонда. В мансардах, по всей вероятности, тоже имелся ряд помещений, где с давних пор селились крысы и мыши; их геройские ночные подвиги мадемуазель Кормон не раз описывала шевалье де Валуа, выражая удивление, что все средства истребить этих буйных грызунов оказывались тщетны. Сад, приблизительно в пол-арпана, был окаймлен Бриллиантой, названной так потому, что ее дно, все в крупинках слюды, кажется усыпанным блестками, — впрочем, только не в Валь-Нобле, где скудные воды речки мутны от красок и отбросов городских промышленных заведений. Как во всех провинциальных городках, где протекает речка, берег Бриллианты тесно застроен домишками, в каких зачастую творятся сомнительные дела; к счастью, в то время напротив сада мадемуазель Кормон жил мирный люд, скромные обыватели — булочник, пятновыводчик, краснодеревцы. Сад, полный простых цветов, заканчивался естественной высокой площадкой, своего рода набережной с несколькими ступеньками для спуска к Бриллианте. Представьте себе на перилах площадки большие вазы из синего с белым фаянса, откуда подымают головки левкои; взгляните налево и направо, где вдоль стен соседних владений тянутся две густые аллеи аккуратно подстриженных лип, — и вы получите понятие о пейзаже, исполненном целомудренного благодушия, безмятежной чистоты, о той скромной, незатейливой панораме, какую составляют противоположный берег с его наивными домиками, мелководная Бриллианта, сад с его густыми аллеями, прижавшимися к соседним стенам, и почтенное жилище Кормонов. Какое спокойствие! Какая тишина! Ничего пышного, но ничего скоропреходящего; тут все кажется вечным. Итак, нижний этаж предназначался для приемов. Здесь все дышало старой нерушимой провинцией. Большая квадратная гостиная в четыре окна, с четырьмя дверями, была скромно обшита деревянной панелью, выкрашенной в серый цвет. Над камином висело единственное зеркало, продолговатой формы, а по верху простенка шел одноцветный рисунок, изображавший День, ведомый Часами. Такого же рода произведения мозолили глаза над каждой дверью, где художник изощрялся на избитую тему — Четыре времени года, — которая в большей части французских домов заставляет вас возненавидеть всех этих мерзких амуров, снимающих жатву, катающихся по льду на коньках, сеющих хлеб или перебрасывающихся цветами. Драпировки из зеленой камки, перехваченные шнуром с крупными кистями на концах, образовывали над каждым окном огромные балдахины. Мебель из крашеного и отлакированного дерева, с вышитой по канве обивкой отличалась изогнутыми формами, столь модными в прошлом веке, и навязчивыми медальонами с рисунками на сюжеты басен Лафонтена; однако кое-где по краям обивка на стульях и креслах была уже подштопана. С середины потолка, разделенного надвое толстой балкой, свисала старинная люстра горного хрусталя в зеленом чехле. На камине, между двумя голубыми севрскими вазами и привинченными к стене старинными жирандолями, стояли часы, изображавшие последнюю сцену из *Дезертира* — свидетельство поразительного успеха произведения Седена[[18]](#footnote-18). Эти часы золоченой бронзы украшены были одиннадцатью человеческими фигурками, каждая величиной в четыре дюйма, на заднем плане — дезертир, окруженный конвоем, выходит из тюрьмы; на переднем — молодая женщина, протянув ему приказ о помиловании, лишается чувств. Каминная решетка, лопатки и щипцы были в том же стиле. По стенам были развешаны наиболее поздние портреты членов семьи Кормонов, одно или два произведения кисти Риго и три пастели Латура. Четыре карточных стола, доска для триктрака и стол для пикета загромождали эту просторную комнату, между прочим, единственную в доме, где был настлан дощатый пол. Рабочему кабинету со сплошной старинной лаковой обшивкой, черно-красной с золотом, предстояло в недалеком будущем приобрести безумную стоимость, что и в голову не приходило мадемуазель Кормон; да она бы его не отдала и по тысяче экю за филенку, ибо в ее правила входило ничего не выпускать из рук. Провинция все еще верит в схороненный прадедами клад. Ненужный будуар был обит иззелена-синей старинной тканью, за которой в наше время охотятся все любители так называемого стиля Помпадур. Столовая, с каменным полом, выложенным черными и белыми плитками, с крашеными балками вместо плафона, была уставлена теми чудовищными по размерам буфетами с мраморной доскою, какие требуются для сражений, задаваемых в провинции желудкам. Стены покрывала роспись, изображавшая цветочные трельяжи. Стулья были из лакированного тростника, а двери — из цельного орехового дерева. Все здесь превосходно завершало патриархальный уклад, которым дышал этот дом как внутри, так и снаружи. Провинциальный дух тут все сохранил в нетронутом виде; в этом жилище ничто не было ни новым, ни древним, ни молодым, ни дряхлым. Холодная размеренность давала себя чувствовать во всем.

Всем туристам, бывавшим в Бретани, Нормандии, Мэне и Анжу, случалось видеть в главных городах этих провинций какой-нибудь дом, в той или иной степени похожий на особняк Кормонов, ибо он представляет собой типический образец буржуазных домов большей части Франции и заслуживает своего места в этом произведении, тем более что в нем выражены нравы и воплощено целое мировоззрение. Кто же еще не ощутил, насколько спокойной и косной была жизнь, протекавшая в стенах этого старого здания? Там была библиотека, но помещалась она немного ниже уровня Бриллианты; ее аккуратно переплетенным, расставленным в строгом порядке томам пыль нисколько не вредила, — она придавала им еще большую ценность. Книги здесь хранились так же заботливо, как хранятся в этих лишенных виноградников провинциях цельные, тонкие, на славу ароматные и выдержанные годами произведения давилен Бургундии, Турени, Гаскони и Юга. Стоимость провоза слишком значительна, чтобы выписывать плохие вина.

Общество, собиравшееся у мадемуазель Кормон, насчитывало без малого полтораста человек; кое-кто время от времени уезжал в деревню, одни болели, других личные дела заставляли разъезжать по департаменту; но существовали приверженцы, бывавшие ежедневно, помимо званых вечеров, подобно тому как некоторые люди, в силу обязанности или привычки, постоянно живут в городе. Все эти люди были в зрелых летах; мало кто из них когда-либо путешествовал, почти все они пребывали безвыездно в провинции, иные в свое время были причастны к шуанству. После того как начали давать награды тем, кто отличился в этой войне, стало возможно безбоязненно говорить о ней. Г-н де Валуа — один из застрельщиков последнего вооруженного восстания, во время которого погиб маркиз де Монторан, выданный своей любовницей, и отличился знаменитый Крадись-по-земле, впоследствии мирно занимавшийся торговлей скотом недалеко от Майенны, — в течение полугода давал ключ к разгадке кое-каких фортелей, которые выкидывали мятежники в схватках со старым республиканцем по имени Гюло, командиром полубригады, расквартированной в Алансоне с 1798 по 1800 год, оставившим после себя память в этом краю (см. «Шуаны»). Женщины наряжались мало, только по средам, — в день, когда мадемуазель Кормон давала обед, и те, кто обедал у нее в прошлую среду, приходили к ней с послеобеденным визитом. Вечером по средам происходил парадный прием; собиралось многолюдное общество, званые гости и постоянные посетители, разодетые in fiocchi[[19]](#footnote-19); две-три женщины, принеся с собой рукоделие, вязали или вышивали по канве; несколько девиц, ничуть не смущаясь, трудились над рисунками для алансонских кружев, чем они зарабатывали на свои нужды. Некоторые хитроумные мужья приводили с собой своих жен, ибо сюда мало приходило молодых людей; тут, бывало, слова не шепнешь на ушко, чтобы это осталось незамеченным, — а следовательно, ни молодой женщине, ни девушке не грозила опасность услышать любовное признание. Каждый вечер, ровно в шесть, длинная прихожая наполнялась обычным скарбом, так как завсегдатаи приносили с собой кто палку, кто плащ, кто фонарь. Все эти люди так хорошо знали друг друга, привычки их были так безыскусственно патриархальны, что если случайно старый аббат де Спонд задерживался в саду, а мадемуазель Кормон — в своей комнате, то ни горничная Жозетта, ни лакей Жаклен, ни кухарка не докладывали им о приходе гостей. Тот, кто являлся первым, поджидал второго; потом, когда набиралось нужное число игроков для партии в пикет, бостон или вист, приступали к игре, не дожидаясь хозяев. С наступлением темноты на звонок прибегала Жозетта или Жаклен и зажигали огонь. Завидев свет в окнах, аббат семенил в гостиную. Каждый вечер все места за доской для триктрака, за тремя столами для бостона и столами для виста и пикета бывали заняты, что составляло в среднем от двадцати до тридцати человек, включая тех, кто развлекался беседой; но часто гостей собиралось свыше сорока. Тогда Жаклен освещал кабинет и будуар. Между восемью и девятью в прихожую начинали стекаться слуги, являвшиеся за своими господами, а в десять в гостиной уже не оставалось ни души (разве только грянула бы революция). В этот час завсегдатаи расходились по улице группами, обсуждая тот или иной ход игры или продолжая обмениваться замечаниями по поводу присмотренных *клочков* пастбища, разделов наследств, раздоров между наследниками и претензий аристократического общества. Совсем как театральный разъезд в Париже! Некоторые люди много болтают о поэзии, ничего в ней не смысля, и ополчаются против провинциальных нравов; но поставьте ногу на каминную решетку, облокотитесь левой рукой на колено и подоприте лоб ладонью, а потом, когда вы ясно представите себе окрестный пейзаж, сам этот дом, его внутреннюю жизнь, это общество с его интересами, разрастающимися за счет своей основательности, как тончайшая золотая пластинка, расплющенная между листами пергамента, задумайтесь над этой спокойной, цельной картиной и спросите себя: что такое человеческая жизнь? Постарайтесь решить, кому вы отдадите предпочтение — тому ли, кто начертил уток на египетских обелисках, или тому, кто двадцать лет подряд играл в бостон с дю Букье, г-ном де Валуа, мадемуазель Кормон, председателем суда, прокурором, аббатом де Спондом, г-жой Грансон *e tutti quanti* [[20]](#footnote-20)? Ежедневное неуклонное хождение по одной и той же тропе, по собственным старым следам может быть сочтено если не подлинным счастьем, то заменой его, настолько полной, что его назовут счастьем все люди, которых треволнения бурной жизни навели на мысль о блаженстве покоя.

Чтобы выразить в цифрах все важное значение салона мадемуазель Кормон, достаточно сказать, что, по подсчетам дю Букье — присяжного статистика этого общества, — постоянные посетители салона располагали ста тридцатью одним голосом в избирательной коллегии[[21]](#footnote-21), а годовой доход с земель, принадлежащих им в этой провинции, составлял в целом миллион восемьсот тысяч ливров. Тем не менее Алансон не весь был представлен этим салоном — у высшей аристократии был свой; кроме того, дом управляющего окладными сборами служил чем-то вроде поддерживаемого правительством административного кабачка, где танцевали, интриговали, повесничали, влюблялись и ужинали. При посредстве лиц смешанного типа оба эти салона сообщались с салоном Кормон; но кружок Кормон строго осуждал все, что происходило в двух других лагерях; хулил роскошь обедов, определял качества мороженого, подаваемого на балах, обсуждал поведение дам, туалеты, любое новшество, которое вводилось в этих кругах.

Мадемуазель Кормон — своего рода фирма, под которой подразумевался влиятельный кружок, — само собой, должна была стать точкой прицела для двух таких отъявленных честолюбцев, какими были шевалье де Валуа и дю Букье. Обоим это сулило депутатство; а значит, в дальнейшем, звание пэра — дворянину, должность управляющего окладными сборами — поставщику. Создать господствующий салон в провинции так же трудно, как в Париже, а кружок в доме Кормон уже был создан. Жениться на мадемуазель Кормон значило воцариться в Алансоне. Из всех трех претендентов на руку старой девы только Атаназ ничего уже не взвешивал и любил невесту не меньше, чем ее приданое. Не заключалась ли своеобразная драма — слово, в наши дни очень ходкое — в положении этих четырех героев? Не таило ли в себе нечто диковинное это тройное соперничество — немая осада старой девы, которая и не догадывалась ни о чем, несмотря на то, что испытывала огромное и вполне законное желание выйти замуж? Но, хотя все вышеизложенное позволяет считать безбрачие этой девицы чем-то из ряда вон выходящим, нетрудно объяснить, как и почему столь богатая особа при наличии трех претендентов все еще не была замужем. Во-первых, по семейным традициям мадемуазель Кормон непременно желала выйти за дворянина, но с 1789 по 1799 год все крайне не благоприятствовало ее притязаниям. Она хотела стать знатной дамой, но безумно боялась революционного трибунала. Эти два чувства, равные по силе, привели ее в состояние неподвижности, согласно закону, действующему как в статике, так и в психике. Впрочем, неопределенность нравится девушкам, пока они еще уверены, что молоды и вправе выбирать себе мужа. Франция знает, что в результате политической системы, которой придерживался Наполеон, множество женщин овдовело. В годы его правления число женихов далеко не соответствовало числу богатых невест. Когда Консульство водворило внутренний порядок, внешние трудности по-прежнему препятствовали замужеству мадемуазель Кормон. Если, с одной стороны, Роза-Мария-Виктория отказывалась выйти за старика, то с другой — боязнь насмешек и обстоятельства не давали ей выйти за юнца; а между тем родители спешили как можно раньше женить своих сыновей, чтобы избавить их от рекрутчины. Наконец упрямое чувство собственности не позволяло мадемуазель Кормон выйти и за военного, ибо она искала себе мужа не для того, чтобы отдать его императору, она хотела держать его при себе. Следовательно, с 1804 по 1815 год ей не под силу было тягаться с молодыми девушками, отбивавшими друг у друга завидных женихов, ряды которых поредели под жерлами пушек. Кроме пристрастия к знатному имени, мадемуазель Кормон страдала весьма простительной манией — она хотела быть любимой ради нее самой. Подумайте только, до чего это желание ее довело! Чтобы проверить искренность своих поклонников, она пустила в ход всю свою изобретательность, придумывала тысячи ловушек. Она так ловко расставляла свои капканы, что бедняги все как один попадались в них, не выдерживая причудливых испытаний, каким они подвергались незаметно для себя. Мадемуазель Кормон не то что изучала, а прямо-таки выслеживала их. Легкомысленно оброненного слова, шутки, хотя частенько и не совсем понятой ею, было достаточно, чтобы она отвергала искателей как недостойных: этот не имел ни души, ни сердца; тот был вралем и дурным христианином; один не прочь был повести ее под венец, но только для того, чтобы вырубить потом ее леса и разжиться; другой был не такого нрава, чтобы сделать ее счастливой; тут она пронюхала наследственную подагру; там ее испугало безнравственное прошлое; она, подобно церкви, требовала непорочного служителя пред свой алтарь; к тому же она хотела, чтобы ее взяли замуж за ее кажущееся безобразие и вымышленные недостатки, как другие женщины хотят, чтобы на них женились за их несуществующие достоинства и сомнительные прелести. Притязания мадемуазель Кормон проистекали из самых тонких чувств женского сердца; она рассчитывала ублажить впоследствии своего возлюбленного, раскрыв перед ним тысячи своих совершенств после свадьбы, когда другие женщины обнаруживают тысячи пороков, которые они тщательно скрывали; но ее дурно поняли: благородной девушке попадались лишь одни пошлые душонки, которые руководились прозаическими расчетами и ничего не смыслили в возвышенных расчетах чувства. Чем больше приближалась она к той роковой поре, что так метко зовется второй молодостью, тем больше возрастала ее недоверчивость. Она нарочно выставляла себя в самом невыгодном свете и так искусно играла свою роль, что и последние завербованные женихи уже не решались связать свою судьбу с судьбой особы, чья добродетель, играя с ними в прятки, требовала длительного изучения (а на это мало охотников среди мужчин, предпочитающих добродетель, бросающуюся в глаза). Вечный страх этой девицы, как бы на ней не женились лишь из-за денег, сделал ее сверх меры беспокойной и подозрительной; она стала гнаться за богачами, но богачам были доступны знатные невесты; она сторонилась бедняков, не веря в их бескорыстие, которому придавала столь большое значение в подобном деле; ничего удивительного, что ее разборчивость и сложившиеся обстоятельства рассеяли окружавших ее мужчин, тщательно перебираемых ею, словно лежалый горох на кухонной доске. И мужчины, которых бедная барышня все больше и больше презирала с каждым несостоявшимся сватовством, неизбежно представали перед ней в неверном свете. А как непременное следствие, в ее характере появились черты глубокой мизантропии, придававшей ее речам оттенок некоторой горечи, а взгляду какую-то суровость. Безбрачие влекло за собой все более строгий образ жизни, ибо, отчаявшись найти достойного мужа, она занялась самоусовершенствованием. Возвышенная месть! Она шлифовала для господа бога неотделанный алмаз, отвергнутый мужчинами. Общественное мнение не замедлило обратиться против нее, ибо толпа присоединяется к приговору, который выносит сама себе незамужняя особа, не вступая в брак, упуская или отвергая женихов. Каждый решает, что подобный отказ основан на тайных причинах, которые всегда дурно истолковываются. Одни твердили о каких-то недостатках в ее сложении; другие приписывали ей тайные пороки, — но бедняжка была чиста, как ангел, здорова, как дитя, и преисполнена стремления к супружеской жизни, ибо была создана самой природой для всех радостей, утех и тягот материнства.

Между тем и внешность мадемуазель Кормон не оказывала должной помощи ее желаниям. У нее была та красота, что совершенно неосновательно зовется *дьявольской*, — одна лишь цветущая свежесть юности, какую, с богословской точки зрения, дьяволу неоткуда взять (если только здесь не имеется в виду постоянно томящая дьявола жажда освежиться). У этой богатой невесты ноги никак не могли сойти за женские ножки; меж тем она часто в простоте душевной выставляла их напоказ, когда подбирала платье, выйдя в дождь из дому или из церкви св. Леонарда. То были мускулистые ноги с небольшими икрами, выпуклыми и жилистыми, как у матроса, с широкими и плоскими ступнями. Полный, крепкий стан, дородность кормилицы, пухлые руки с красными кистями — все было в соответствии с ее пышными формами и тучной белизной, отличающими нормандских красавиц. Глаза навыкате, неопределенного цвета, придавали ее круглому лицу, в чертах которого не было никакой одухотворенности, баранье выражение — изумленное и тупое, что, впрочем, пристало старой деве: не будь Роза Кормон простушкой, она казалась бы ею. Форма ее орлиного носа не подходила к низкому лбу, ибо подобное строение носа почти всегда сочетается с красотою лба. Несмотря на толстые красные губы — признак большой доброты, — этот лоб указывал на такую скудость мысли, когда разум неспособен руководить сердцем; по-видимому, мадемуазель Кормон хотя и творила добро, но несколько угловато. А мы строго порицаем добродетельных людей за их недостатки, хотя у людей порочных охотно признаем их достоинства. Каштановые волосы необычайной длины придавали Розе Кормон ту красоту, которая проистекает от силы и изобилия — двух основных особенностей ее натуры. В свою лучшую пору мадемуазель Кормон старалась держать голову в три четверти оборота, чтобы показать прехорошенькое ушко, красиво выделявшееся на голубоватой белизне шеи и виска, подчеркнутой огромною копною волос. В таком виде, в бальном наряде, ее можно было счесть красавицей. Ее роскошные формы, высокий рост, крепкое здоровье вызывали у офицеров Империи восхищенный возглас: «Ай да девка!» Но с годами, под неуловимым воздействием безмятежной добродетельной жизни, весь этот жир так неравномерно распределился по ее телу, что исказил его первоначальные пропорции. Теперь бы никакой корсет уже не обрисовал бедер этой бедной девушки, которая стала похожа на колоду. Исчезла юная соразмерность ее груди, колоссальный объем которой внушал теперь опасение, что стоит мадемуазель Кормон нагнуться — и верхняя громада туловища, перевесив, увлечет ее всю за собой; однако природа наделила ее противовесом, который делал излишними обманчивые уловки турнюра. У нее все было без подделки. Подбородок, утроившись, укоротил шею и придал неповоротливость голове. У Розы Кормон не было морщин, у нее были складки; и шутники уверяли, будто она вынуждена прибегать к детской присыпке, чтобы не воспалялась кожа. Перед заманчивыми прелестями такой толстухи не мог устоять волнуемый страстными мечтами молодой человек, каким был Атаназ. Юное воображение, смелое по своей природе, манит изобильная фламандская красота. То была жирная куропатка, привлекающая чревоугодников. Немало элегантных парижан, запутавшихся в долгах, весьма охотно покорились бы необходимости исправнейшим образом доставлять счастье мадемуазель Кормон. Однако бедняжке уже перевалило за сорок! Теперь, после долгих усилий наполнить свою жизнь теми интересами, без которых женщина — не женщина, Роза Кормон, вынужденная, несмотря ни на что, оставаться в девицах, укрепляла свою добродетель самым суровым благочестием. Ее прибежищем стала религия, эта великая утешительница строго хранимой девственности. Три года мадемуазель Кормон, послушная своему довольно невежественному духовнику, умерщвляла плоть, три года она под его руководством прибегала к таким мерам самобичевания, которые, если верить новейшей медицине, действуют совсем не так, как ожидал этот жалкий священник, не очень-то сведущий в гигиене. Мало-помалу благодаря нелепому благочестию монашеская бледность стала разливаться по лицу Розы Кормон, которая не раз отчаивалась, видя, как ее некогда белая кожа покрывается желтизной — вестницей перезрелости. Легкий пушок, оттенявший по уголкам ее верхнюю губу, начал не на шутку расти и образовал как бы налет копоти. И виски стали принимать перламутровые тона. Словом, молодость пошла на убыль. В Алансоне было доподлинно известно, что кровь донимает мадемуазель Кормон; она заставляла шевалье де Валуа выслушивать ее откровенные признания, исчисляла ему свои ножные ванны, придумывала вместе с ним охлаждающие средства. В таких случаях шевалье, хитрая бестия, вытаскивал из кармана свою табакерку и вглядывался в княгиню Горицу, словно испрашивая у нее заключения по этому вопросу.

— Замуж пора, дорогая барышня, замуж! — говорил он.

— Но кому довериться! — восклицала она.

Тут кавалер стряхивал крупинки табака, забившиеся в складки жилета или шелковых панталон. Всему свету этот жест показался бы вполне естественным; но бедную девушку он всегда тревожил. Томления беспредметной страсти были так велики, что Роза не смела посмотреть в лицо ни одному мужчине, боясь выдать своим взглядом терзавшее ее чувство. Из причуды, которая, пожалуй, была не чем иным, как продолжением ее прежнего образа действий, боясь, как бы кто не подумал, что она выжила из ума и гоняется за женихами, мадемуазель Кормон не очень любезно обходилась с теми, кто еще годился ей в мужья и нравился ей. Не понимая побуждений старой девы, всегда исполненных благородства, большинство лиц ее круга считало, что с холостяками, своими товарищами по несчастью, она обращается так из мести за снесенный или предвидимый отказ.

В начале 1815 года мадемуазель Кормон достигла рокового возраста — сорока двух лет, но никому в этом не признавалась. Теперь ее желание выйти замуж приобрело напряженность, граничившую с помешательством, так как она почувствовала угрозу потерять всякие шансы на потомство; а она в своем святом неведении больше всего на свете желала иметь детей. Не было в Алансоне человека, который приписал бы этой непорочной деве хотя бы один нечистый любовный помысел; она была полна любви, вообще ничего не зная о любви; то была католическая Агнеса[[22]](#footnote-22), не способная ни на одну из хитростей мольеровской Агнесы. Уже несколько месяцев как она полагалась на счастливый случай. Роспуск императорских войск и восстановление королевской армии произвели переворот в судьбе многих военных, — они возвращались к себе на родину, кто с половинным жалованьем, кто с пенсией, а кто и без нее, но все с одной мыслью — избавиться от своей плачевной участи, положив ей конец, который для мадемуазель Кормон мог стать восхитительным началом. Мудрено, чтобы во всей окрестности не нашлось среди вернувшихся какого-нибудь честного вояки, достойного уважения, а главное — человека крепкого здоровьем и подходящих лет, с хорошим характером, за что можно было бы простить бонапартистские взгляды; вероятно, нашелся бы и такой, который стал бы роялистом с целью вернуть себе утраченное место в обществе. Исходя из этих расчетов, Роза Кормон в начале года еще выказывала мужчинам прежнюю суровость. Однако военные, поселившиеся в Алансоне, все оказались либо слишком старыми, либо слишком молодыми, чересчур ярыми бонапартистами или чересчур большими негодяями, личностями, ведущими образ жизни, несовместимый с благонравием, достоинством и богатством мадемуазель Кормон, так что она с каждым днем все больше и больше теряла надежду. Старшие офицеры еще при Наполеоне воспользовались преимуществами своего положения и все переженились, — они-то и стали роялистами в интересах своих семей. Сколько мадемуазель Кормон ни молила милосердного бога ниспослать ей супруга, дабы она могла вкусить счастье по-христиански, но, видно, ей на роду было написано умереть девой-мученицей, ибо не выискивался ни один мужчина, который сколько-нибудь годен был в мужья. Беседы, которые велись по вечерам в ее гостиной, давали настолько обстоятельный полицейский обзор всего города, что стоило какому-нибудь приезжему появиться в Алансоне, как мадемуазель Кормон уже получала точную справку о его образе жизни, средствах и достоинствах. Но Алансон — город, ничем не привлекательный для приезжих, через него не пролегает путь ни к одной столице, и счастливые случайности здесь невозможны. Моряки, направляющиеся из Бреста в Париж, даже не останавливаются тут. В конце концов бедная девушка поняла, что должна удовольствоваться местными жителями; вот почему она иногда смотрела зверем, на что хитроумный шевалье отвечал понимающим взором, вытаскивал табакерку и созерцал свою княгиню Горицу: г-н де Валуа знал, что с женской точки зрения верность прошлому служит порукой надежного будущего. Но мадемуазель Кормон, надо сознаться, была малосообразительна — она ничего не понимала в игре с табакеркой. Она удвоила свое неусыпное рвение к борьбе с *лукавым*. Суровое благочестие и строжайшие правила способствовали тому, что эти жестокие муки оставались тайной ее частной жизни. Каждый вечер, проводив гостей, она думала о своей погибшей молодости, о поблекшей свежести, о требованиях обойденной природы; и, принося в жертву к подножию креста свои мечты — эти поэмы, обреченные никогда не увидеть света, — она твердо давала себе зарок: если встретится человек, готовый жениться на ней, не подвергать его испытаниям, а принять таким, каков он есть. В иные особенно томительные вечера она, испытуя свои сердечные склонности, мысленно уже соглашалась выйти за одного подпоручика, заядлого курильщика, которого она своими заботами, добротой и уступчивостью собиралась превратить в самого достойного человека на свете; ее не останавливало даже то, что он был по уши в долгах. Но для подобных фантастических браков требовалась тишина ночи, когда Розе Кормон нравилось разыгрывать возвышенную роль ангела-хранителя. На следующее утро, если постель девицы Кормон и свидетельствовала о беспокойном сне, зато свою барышню Жозетта заставала во всеоружии собственного достоинства; на следующее утро, позавтракав, Роза уже хотела другого мужа — добродушного помещика, лет сорока, моложавого, хорошо сохранившегося.

Аббат де Спонд не был способен помочь племяннице в ее матримониальных ухищрениях. Этот старичок, лет около семидесяти, приписывал напасти французской революции неисповедимым предначертаниям провидения и видел в ней не что иное, как кару, которая постигла разложившуюся церковь. Поэтому аббат де Спонд бросился на давно всеми заброшенный путь, который отшельники некогда прокладывали для себя в царствие небесное: он вел жизнь аскета, но без выспренности, без показной торжественности. Он скрывал от света свои добрые дела, нескончаемые молитвы и подвиги умерщвления плоти; он считал, что в такое смутное время все священники должны действовать подобным же образом, и поучал их своим примером. Обращая к миру спокойное, улыбающееся лицо, он в конце концов совершенно отрешился от мирских дел; его мысли были заняты заботами об участи обездоленных, о нуждах церкви и о спасении души. Он передал управление всем своим имуществом племяннице, которая ему вручала его доход, а он, выделив ей скромную сумму на свое содержание, остальные деньги потихоньку раздавал бедным и жертвовал на церковь. Вся нежность аббата сосредоточилась на племяннице, которая почитала его, как отца; но это был отец не от мира сего, нисколько не понимавший волнений плоти, возносивший благодарность небу за то, что бог поддерживает его дорогую дочь в безбрачии, ибо сам аббат смолоду следовал взглядам святого Иоанна Златоуста, который писал, что «девственность настолько выше брака, насколько ангел выше человека». Из привычного почтения к дядюшке мадемуазель Кормон не смела признаться ему, как она жаждет замужества. Впрочем, старичку, который свыкся с распорядком дома, вряд ли пришлось бы по душе, если бы здесь водворился хозяин. Поглощенный мыслью о сирых и убогих, которым он помогал, погруженный в бездонную глубину молитв, он частенько проявлял рассеянность, которую в его кругу принимали за старческую забывчивость; малоразговорчивый, он хранил ласковое, благожелательное безмолвие. Высокого роста, сухощавый, важный и величественный в обращении, неизменно сохранявший на лице выражение кротости и глубокого душевного покоя, человек этот своим присутствием придавал дому Кормон священный авторитет. Он очень любил вольтерьянца шевалье де Валуа. Эти два славных обломка аристократии и духовенства, при всем несходстве характеров, чувствовали друг в друге что-то общее. Впрочем, отношение шевалье к аббату де Спонду было настолько же елейным, насколько оно было отеческим к гризеткам.

Кое-кто, быть может, подумает, что мадемуазель Кормон, идя к своей цели, не останавливалась ни перед чем; что, прибегая к узаконенным, дозволенным женщине уловкам, она обращалась к нарядам, к низко вырезанным корсажам, что она позволяла себе предосудительно кокетничать своими великолепными доспехами. Ничуть не бывало! Она держалась в своих одеждах стоически неподвижно, как часовой в караульной будке. Ее шляпы, платья и все прочие туалеты изготовлялись двумя алансонскими модистками, сестрами-горбуньями, не лишенными вкуса. Вопреки настояниям обеих мастериц, мадемуазель Кормон отвергала ловкие измышления элегантности; она хотела, чтобы все в ней было роскошно — и стан и уборы; и, пожалуй, тяжелый покрой ее платьев отлично шел к ее внешности. Всякому вольно смеяться над бедной девой! Но вы, благородные души, те, кто мало придает значения форме, облекающей чувство, кто восхищается им повсюду, где бы оно ни было, — вы сочтете ее существом возвышенным! Тут некоторые поверхностные женщины попробуют оспаривать правдоподобность этого повествования; они скажут, что во всей Франции не сыскать такой глупышки, которая не умела бы искусно подцепить себе мужа, что мадемуазель Кормон — одно из тех нелепых исключений, какие здравый смысл запрещает возводить в тип; что самая целомудренная, не знающая жизни девушка, задумав поймать пескаря, всегда найдет приманку для своей удочки. Однако такая критика отпадает сама собой, когда подумаешь, что великая римско-католическая и апостольская вера еще крепко стоит в Бретани и в бывшем Алансонском герцогстве. Вера и благочестие не допускают подобных хитростей. Мадемуазель Кормон шествовала по пути спасения души — и тернии своего затянувшегося до бесконечности девства предпочитала злу обмана, греху лукавства. У девицы, вооруженной чувством благочиния, добродетель не могла пойти на уступки; поэтому люди, влекомые к ней любовью или расчетом, должны были бы сами решительно пойти на приступ. Кроме того, соберемся с духом, чтобы сделать одно признание, жестокое в такие времена, когда для одних религия — только средство, для других — только поэзия. Набожность вредит душевной зоркости. Милостью провидения она отнимает у душ, устремленных к вечному, способность замечать множество земных мелочей. Попросту говоря, святоши во многом глупы. Впрочем, эта глупость свидетельствует об усердии, с каким они возносят дух свой горé; правда, по утверждению вольтерьянца г-на де Валуа, чрезвычайно трудно решить: то ли глупым женщинам свойственно впадать в ханжество, то ли ханжам свойственно глупеть. Поверьте, самая чистая католическая добродетель, с ее страстной готовностью испить любую горькую чашу, с ее благоговейной покорностью велению божьему, с ее верой в печать божественного перста на всех живых творениях, — вот тот скрытый свет, который, проникнув в последние звенья этой истории, подчеркнет ее истинный смысл и, безусловно, возвысит ее в глазах тех, кто еще не утратил благочестия. Притом, если существует на свете глупость, отчего же не заняться страданиями глупых людей, как занимаются страданиями людей гениальных? Первые — общественный элемент, бесконечно более распространенный, чем вторые. Итак, мадемуазель Кормон грешила в глазах света божественным неведением девственницы. Она была совсем лишена наблюдательности, что в достаточной степени подтверждалось ее обращением с женихами. В наше время молоденькая шестнадцатилетняя девушка, которая еще не держала в руках ни одного романа, прочла бы целые сотни страниц любви в глазах Атаназа, а мадемуазель Кормон ничего в них не заметила; она не распознала по его трепетным речам силу чувства, не смевшего себя выразить. Стыдливая сама, она не угадывала стыдливости у другого. Способная измышлять всякие тонкости высокого чувства, что было для нее гибельно с самого начала, она не распознала их в Атаназе. Такое психологическое явление не покажется необычайным тем, кто знает, что достоинства сердца не связаны с достоинствами ума, как гениальность не связана с благородством души. Люди совершенные весьма редки — недаром Сократ, прекраснейший из перлов человечества, соглашался с френологом своего времени, что он, мудрец Сократ, рожден был стать большим плутом. Великий полководец способен спасти свое отечество в битве при Цюрихе и стакнуться с поставщиками[[23]](#footnote-23). Банкир сомнительной честности может оказаться государственным деятелем. Великий музыкант, которому дано слагать дивные мелодии, может совершить подлог. Женщина с чутким сердцем может быть дурой набитой. Наконец, благочестивая дева может обладать возвышенной душой и не услышать рядом с собой голоса другой прекрасной души. Странности проистекают равно как от физического, так и от душевного убожества. Мадемуазель Кормон, это добродушное создание, горевавшее, что, кроме нее и дядюшки, некому лакомиться ее вареньем, стала чуть ли не посмешищем. Даже люди, у которых старая дева вызывала симпатию своими достоинствами, а у иных и своими недостатками, зубоскалили по поводу ее несостоявшихся свадеб. Не раз в разговорах затрагивался вопрос о том, что станется с таким прекрасным имуществом, со сбережениями мадемуазель Кормон, а также с наследством ее дяди. С давних пор все вокруг подозревали, что Роза, вопреки видимости, по существу *оригиналка*. В провинции не разрешается быть оригинальным — это значит иметь никому не понятные идеи, а здесь хотят равенства умов и равенства характеров. Брак мадемуазель Кормон стал с 1804 года столь сомнительным, что выражение *выйти замуж, как мадемуазель Кормон*, вошло у алансонцев в поговорку и было равносильно самому насмешливому отрицанию. Должно быть, насмешка отвечает одной из крайне настоятельных потребностей француза, если в Алансоне могли подтрунивать над такой превосходной особой. Она не только принимала у себя весь город, но была благотворительна, благочестива, беззлобна; она к тому же настолько слилась с духом и нравом алансонцев, что они любили ее, как чистейший символ своей жизни, — ибо она закоснела в обыденной жизни провинциальной глуши, она никогда ее не покидала, разделяла ее предрассудки, принимала к сердцу ее интересы, боготворила ее. Несмотря на восемнадцать тысяч годового дохода с земельной собственности — значительное состояние для провинции, — она во всем обиходе ничуть не отличалась от менее богатых семейств. Отправляясь в свое имение Пребоде, мадемуазель Кормон пускалась в путь в старой одноколке, у которой плетеный кузов подвешен был на двух широких сыромятных ремнях и прикрыт двумя кожаными фартуками. За этой знакомой всему городу тележкой, в которую впрягали крупную запаленную кобылу, Жаклен ухаживал, словно за самым красивым парижским выездом: мадемуазель Кормон очень дорожила своим экипажем, она ездила в нем уже двенадцать лет, на что всегда с торжеством обращала внимание окружающих, радуясь этим ухищрениям скупости. Большинство горожан было признательно мадемуазель Кормон за то, что она не унижала их своей роскошью, не любила пускать пыль в глаза; надо думать, что, выпиши она коляску из Парижа, об этом судачили бы больше, чем о ее несостоявшихся свадьбах. Впрочем, старая одноколка доставляла ее в Пребоде так же исправно, как это сделал бы самый блестящий экипаж. А ведь провинция, которая всегда видит перед собой конечную цель, мало заботится о красоте средств, были бы они только действительны.

Для полноты изображения домашнего быта мадемуазель Кормон и аббата де Спонда необходимо вокруг них сгруппировать Жаклена, Жозетту и кухарку Мариетту, которые радели о благополучии дяди и племянницы. Жаклен, сорокалетний мужчина, толстый, приземистый, краснолицый и черноволосый, похожий наружностью на бретонского матроса, служил в этом доме уже двадцать два года. Он подавал к столу, чистил скребницей лошадь, работал в саду, ваксил башмаки аббата, был на посылках, пилил дрова, правил одноколкой, ездил за овсом, сеном и соломой в Пребоде, а по вечерам, сонный, как сурок, пребывал в прихожей; по слухам, он любил Жозетту, тридцатишестилетнюю девушку, которую мадемуазель Кормон не держала бы у себя ни одного дня, если бы та вышла замуж. Поэтому бедные влюбленные копили деньги и втихомолку любили друг друга, с надеждой ожидая замужества барышни, как евреи — пришествия мессии. Жозетта, уроженка местности между Алансоном и Мортанью, была маленькой толстушкой; ее лицо, похожее на перепачканный абрикос, было довольно умным и выразительным; шла молва, что она вертит своей госпожой. Жозетта и Жаклен были уверены в благополучном исходе, и довольный вид их заставлял думать, что эта влюбленная парочка не откладывает счастья в долгий ящик. Кухарка Мариетта, которая тоже прожила в доме немало — целых пятнадцать лет, — мастерски готовила все блюда, бывшие в чести в этом краю.

Не следовало бы умалять значение и старой гнедой — крупной кобылы нормандской породы, — возившей мадемуазель Кормон в ее поместье Пребоде, ибо все пятеро обитателей дома питали к этому животному привязанность, граничившую с манией. Лошадь звали Пенелопой, она служила уже восемнадцать лет; она была всегда ухожена, всегда вовремя накормлена и напоена; Жаклен и барышня надеялись, что она послужит еще лет десять, а то и больше. Пенелопа являлась предметом постоянных разговоров и забот; бедная мадемуазель Кормон, не имея возможности излить свое материнское чувство на детей, как бы перенесла его нерастраченным на это счастливое четвероногое. Пенелопа помешала барышне завести канареек, кошек, собак — все, что заменяет семью для существ, обреченных в человеческом обществе на одиночество.

Четверо верных домочадцев — ибо своей понятливостью Пенелопа поднялась до уровня этих славных слуг, меж тем как они опустились до покорной выносливости бессловесных тварей, — изо дня в день выполняли одну и ту же работу непогрешимо точно, как автоматы. «Что же, — говорили слуги на своем языке, — нанялся — продался». Мадемуазель Кормон, подобно всем, у кого нервы возбуждены одной навязчивой идеей, с каждым днем становилась все придирчивее, привередливее, не столько в силу характера, сколько из-за жажды деятельности. Лишенная возможности отдаться заботам о муже и о детях, об их нуждах, она цеплялась за мелочи. Могла часами ворчать по пустякам, из-за какой-нибудь дюжины салфеток, помеченных буквой «z», но положенных выше дюжины, помеченной буквой «o».

— И о чем только думает Жозетта! — кричала она. — Видно, ей уже ни до чего нет дела?

Как-то выдалась такая неделя, когда барышня ежедневно осведомлялась, не забыли ли в два часа задать Пенелопе очередную порцию овса, — и все только потому, что Жаклен один-единственный раз запоздал с этим. Ее убогое воображение всегда занято было пустяками: слой пыли, оставленный метелкой, ломтики хлеба, недостаточно поджаренные Мариеттой, нерасторопность Жаклена, не успевшего занавесить окна от солнца, чтобы не выгорала мебель, — все эти мелкие провинности приводили к крупным ссорам, и барышня выходила из себя. Право, все на свете меняется, горячилась мадемуазель Кормон, прежних слуг не узнать; они отбились от рук, она была чересчур добра! Однажды Жозетта подала ей «День христианина» вместо «Пасхальной седьмицы». В тот же вечер весь город узнал об этом несчастье. Мадемуазель была вынуждена уйти домой из церкви св. Леонарда, из-за чего ей пришлось потревожить всех молящихся, и ее внезапный уход дал повод к нескромным шуткам, так что ей пришлось рассказать друзьям, чем было вызвано это происшествие.

— Жозетта, — кротко сказала она, — чтоб этого больше не было.

Сама того не подозревая, мадемуазель Кормон была очень рада этим маленьким перебранкам, которые давали выход накопившейся желчи. У разума свои требования; у него, как и у тела, своя гимнастика. Эти перемены в расположении духа принимались Жозеттой и Жакленом так, как земледельцами перемена погоды. Трое славных людей говорили: «хорошая погода!» или «ненастье!», не ропща на небо. Порою, проснувшись, они спрашивали друг друга поутру, у себя на кухне, с какой ноги нынче встанет барышня, подобно тому как фермер вглядывается в предрассветный туман. В конце концов мадемуазель Кормон, как и следовало ожидать, стала любоваться собственным отражением в бесконечно малых величинах своей жизни. Она и господь бог, ее духовник и стирка белья, ее варенье и церковные службы, заботы о дядюшке — все это поглощало и без того слабый ум старой девы. Ничтожные мелочи непомерно разрастались в ее глазах в силу оптических свойств людского эгоизма, врожденного или благоприобретенного. Она пользовалась таким превосходным здоровьем, что малейшее расстройство пищеварительного аппарата расценивалось ею как нечто угрожающее. Впрочем, мадемуазель Кормон не выходила из повиновения медицине наших бабушек и четыре раза в году из предосторожности принимала очистительные, от которых могла бы околеть Пенелопа, но старая дева получала лишь хорошую встряску. Если Жозетта, одевая барышню, обнаруживала у нее прыщик где-нибудь на лопатках, еще не утративших атласистости, это вызывало грандиозные расследования по поводу каждого глотка пищи за всю истекшую неделю. Что было за торжество, если Жозетта напоминала своей госпоже о каком-нибудь чересчур остро приправленном заячьем жарком, от которого, очевидно, и вскочил проклятый прыщик. С какой радостью они восклицали в один голос:

— Несомненно, это от зайца!

— Мариетта слишком его наперчила, — продолжала барышня. — Сколько я ей твержу, — готовь *послаще* для дядюшки и для меня, но у Мариетты память короче...

— ...чем заячий хвост, — подсказывала Жозетта.

— Вот, вот! — подхватывала барышня. — У нее память короче заячьего хвоста. Ты это метко сказала!

Четыре раза в году, в начале весны, осени, лета и зимы, мадемуазель Кормон отправлялась на непродолжительное время в свое имение Пребоде. События, о которых ведется речь, происходили в середине мая, в ту самую пору, когда мадемуазель Кормон нужно было посмотреть, дали ли ее яблони достаточно *снега* — местное словцо, основанное на впечатлении от облетевшего яблоневого цвета. Если осыпавшиеся лепестки образуют под деревьями кольцевидную груду, плотную, как снежный пласт, землевладелец может ожидать обильных запасов сидра. Прикидывая таким способом, на сколько бочонков можно рассчитывать, мадемуазель Кормон в то же время наблюдала за ремонтом, неизбежным после зимы; она распоряжалась работами в огороде и фруктовом саду, которые доставляли ей множество припасов. Каждое время года приносило свои хлопоты. Перед отъездом из города мадемуазель Кормон устраивала прощальный обед для своих верных друзей, хотя через три недели ей предстояло снова с ними увидеться. Всякий раз весть об отъезде мадемуазель Кормон гремела по всему Алансону. Завсегдатаи, пропустившие перед этим один визит, спешили тогда к ней; ее приемные комнаты бывали полным-полны; каждый желал ей счастливого пути, словно ей предстояла поездка в Калькутту. А на следующее утро торговцы выходили на порог своих лавок. Стар и млад глазели на проезжавшую одноколку; казалось, они сообщали друг другу небывалую новость, повторяя наперебой: «Мадемуазель Кормон едет в Пребоде!» В одном месте слышалось: «Да, вот кто может не беспокоиться о завтрашнем дне!» — «Эх, приятель, — отвечал сосед, — это славная барышня; если бы деньги всегда попадали в такие руки, перевелись бы нищие в нашей стороне». А из другого места доносилось: «Вот так так. Значит, цветут наши «виноградники» — мадемуазель Кормон уже едет в Пребоде. Как это понять, почему так мало охотников на ней жениться?» — «А вот я бы не прочь пойти с ней под венец, — откликался какой-нибудь балагур. — Свадьба наполовину решена, раз одна сторона согласна; да другая не хочет, вот беда! Что толковать! Этот ананас не про нас, он для господина дю Букье!» — «Дю Букье... она ему отказала». В тот же вечер во всех гостиных многозначительно повторяли: «Мадемуазель Кормон уехала», или: «Стало быть, вы допустили, чтобы мадемуазель Кормон уехала?!»

День, выбранный Сюзанной для скандальных изобличений, по игре случая совпал с такой именно средой — днем отъезда мадемуазель Кормон, когда барышня своими сборами в дорогу доводила Жозетту до того, что у той голова шла кругом. Итак, в это утро в городе творилось и говорилось много такого, что придало волнующий интерес прощальному сбору гостей. Пока старая дева обсуждала, что ей может понадобиться в дороге, а хитрый шевалье играл в пикет у царицы аристократического лагеря, мадемуазель Арманды д'Эгриньон, сестры старого маркиза д'Эгриньона, — госпожа Грансон успела обежать с десяток домов и раззвонить о происшествии во все колокола.

Если никто не относился безучастно к тому, какую мину скорчит соблазнитель на вечере, то для шевалье де Валуа и г-жи Грансон важно было знать, как примет эту новость мадемуазель Кормон в своей двойной роли девушки-невесты и председательницы Общества вспомоществования матерям. Что касается ни в чем не повинного дю Букье, то он, прохаживаясь по улице дю Кур, подумывал, уж не одурачила ли его Сюзанна; это подозрение убеждало его в справедливости правил, которых он держался относительно женщин.

По таким торжественным дням у барышни Кормон стол был накрыт к половине четвертого. В те годы фешенебельное общество Алансона только в исключительных случаях обедало в четыре часа. Во времена Империи там обедали еще по старинке — в два часа пополудни; но зато там ужинали! Если что тешило мадемуазель Кормон, если что доставляло ей невыразимое удовольствие, невинное, но безусловно покоящееся на эгоизме, — так это сознание, что она одета, как подобает хозяйке дома, поджидающей гостей. Стоило ей облечься в бранные доспехи, и луч надежды закрадывался во мрак ее сердца; тайный голос шептал ей, что не напрасно она так одарена природой, что скоро для нее найдется жених. Все это придавало свежесть ее желаниям, подобно тому, как она только что придала свежесть своей внешности; она вертелась у зеркала, с упоением разглядывала себя, наряженную в платье из *двусторонней* ткани; чувство самодовольства не покидало ее и позднее, когда она спускалась в нижний этаж, чтобы окинуть придирчивым взглядом гостиную, кабинет и будуар. Она похаживала по комнатам с простодушной радостью богача, который поминутно обращается к мысли, что он богат и никогда не будет терпеть нужды. Она смотрела на свою вековечную мебель, на предметы старины, на китайский лак и думала, что все эти прелестные вещи ждут хозяина. Налюбовавшись на столовую, где на длинном, во всю комнату, столе, покрытом белоснежной скатертью, было расставлено, через равные промежутки, до двенадцати столовых приборов; произведя смотр бутылкам самых почтенных марок, выбранным по ее приказанию; тщательно проверив билетики с именами гостей, выведенными дрожащей рукою аббата — единственная возложенная на него хозяйственная обязанность, постоянно служившая поводом к нешуточным пререканиям из-за места для каждого приглашенного, — мадемуазель в нарядном своем платье присоединялась к дядюшке, который в ту пору, лучшую пору дня, гулял по площадке вдоль Бриллианты, прислушиваясь к щебетанию птиц, гнездившихся в густой зелени аллеи, где им не угрожали ни озорники-мальчишки, ни охотники. В эти часы ожидания Роза всегда подходила к аббату де Спонду с какими-нибудь нелепыми вопросами, чтобы втянуть доброго старика в занимательный, как ей казалось, спор. Это вытекало из одной ее особенности, которая и должна довершить портрет превосходной девицы.

Мадемуазель Кормон почитала беседу своим священным долгом: не то, чтобы она отличалась болтливостью — к несчастью, ее мозг и словарь были слишком бедны, чтобы она могла разглагольствовать, — но она внушила себе, что исполняет таким образом общественный долг, предписанный церковью, которая повелевает нам угождать ближним. Эта обязанность обходилась ей так дорого, что она советовалась со своим наставником, аббатом Кутюрье, по поводу такой добросовестной ребяческой учтивости. Невзирая на смиренное признание своей духовной дочери в том, что ей долго приходится ломать себе голову в поисках темы для разговора, старый священник, неумолимый в вопросах самобичевания, прочитал ей целый отрывок из святого Франциска Сальского о долге светской женщины, о благопристойной веселости благочестивых христианок, которым надлежит держать свою строгость при себе и оказывать любезное внимание ближнему, дабы он не соскучился в их доме. Преисполненная сознания своего долга и боязни ослушаться духовника, который велел ей быть приветливо-разговорчивой, бедняжка обливалась потом в своем корсете, когда разговор становился вялым, — таких мучений ей стоило выжать из головы какую-нибудь мысль, пытаясь оживить замиравшую беседу. В подобных случаях она разрешалась удивительными изречениями вроде, например, такого: *Никто не может быть в одно время в двух местах, разве только птичка*, чем однажды не без успеха вызвала диспут о вездесущности апостолов, в котором ровно ничего не поняла. Такие своего рода *открытия* снискали старой деве в ее кругу прозвище *доброй мадемуазель Кормон*, что в устах умников из этого общества значило: «она глупа как пробка и на редкость невежественна»; впрочем, многие люди ее уровня понимали лестный эпитет буквально и поддакивали: «О, мадемуазель Кормон превосходная особа!» Порой, движимая желанием сделать гостям приятное и тем самым выполнить свой долг перед светом, она задавала настолько несуразные вопросы, что все вокруг покатывались со смеху. Она, например, спрашивала, куда это правительство девает налоги, получаемые им с незапамятных времен; почему библия не была напечатана во времена Иисуса Христа, если ее составил еще Моисей? Она недалеко ушла от того country gentlman'a[[24]](#footnote-24), который, слыша в палате общин постоянные разговоры о потомстве, встал со своего места, чтобы произнести следующий, прославивший его *спич*: «Господа, я слышу здесь постоянные разговоры о *потомках*, я бы очень хотел знать, что сделало государство Потомкия для Англии?» В таких случаях доблестный шевалье де Валуа, подметив улыбку, которой обменивались безжалостные полузнайки, устремлял на помощь старой деве все силы своей дипломатической находчивости. Старый аристократ, которому нравилось одаривать женщин, уделял мадемуазель Кормон частицу своего ума; оказывая ей поддержку при помощи парадоксальных толкований, он чрезвычайно ловко прикрывал отступление, и иной раз могло показаться, что старая дева изрекла не такую уж глупость. Однажды она не шутя призналась, что не знает, какая разница между волами и быками. Обворожительный шевалье остановил взрыв хохота, ответив, что волы могут быть только дядюшками телок. Другой раз, слыша толки о коннозаводстве и о трудностях этого промысла — разговоры частые в краю, где имеется превосходный конский завод Пэна, — она спросила, почему лошади не приносят жеребят по два раза в год! Шевалье отвлек общий смех на себя.

— Это было бы вполне возможно! — сказал он. Присутствующие навострили уши. — Всему виной, — продолжал он, — естествоиспытатели, которые до сих пор не сумели заставить кобылиц носить меньше одиннадцати месяцев.

Шевалье де Валуа служил неблагодарной, ибо мадемуазель Кормон не поняла ни одной из его рыцарских услуг. Видя, что беседа оживляется, Роза начинала думать, что она не так глупа, как ей казалось. В конце концов она перестала замечать свое невежество и чувствовала себя прекрасно, уподобившись герою «Рассеянного», герцогу де Бранкасу[[25]](#footnote-25), который так удобно расположился во рву, куда по неосторожности упал, что, когда пришли вытаскивать его оттуда, спросил, чего, собственно говоря, от него хотят. С этой довольно недавней поры старая дева избавилась от своей робости и приобрела апломб, придававший ее открытиям тот торжественный оттенок, какой вкосится англичанами в их нелепые «патриотические» выходки и является как бы фатовством глупости.

Итак, подходя павою к дядюшке, она заранее смаковала вопрос, с каким обратится к нему, чтобы вывести его из безмолвия, всегда ее тревожившего: ей казалось, что он скучает.

— Дядюшка, — сказала она, повисая у него на руке и весело прижимаясь к нему (еще одна утеха ее воображения — она думала: «Будь у меня муж, я бы ходила с ним вот так!»), — дядюшка, если все на земле вершится по воле божьей, значит, все имеет свой смысл?

— Разумеется, — серьезно подтвердил аббат де Спонд, который, нежно любя племянницу, с неизменным ангельским терпением отрывался для нее от своих мыслей.

— А если, предположим, я останусь в девушках? Выходит, так угодно богу?

— Да, дитя мое, — ответил аббат.

— Но так как ничто не мешает мне выйти замуж хоть завтра, получается, что воля божья может быть нарушена моею волей?

— Все это было бы верно, если бы мы знали истинную волю божью, — ответствовал бывший приор Сорбонны. — Заметь, дочь моя, ты же говоришь *если*.

Бедняжка, надеявшаяся с помощью упоминания о всемогуществе божьем вовлечь дядюшку в обсуждение брачного вопроса, была озадачена; но люди тупоголовые следуют ужасающей логике детей, которые переходят от ответа на свой вопрос к новым вопросам и подчас ставят взрослых в весьма затруднительное положение.

— Дядюшка, но ведь господь создал женщин не для того, чтобы они оставались в девушках; пусть бы уж тогда они были либо все девушками, либо все женщинами. А то роли распределяются несправедливо.

— Дочь моя, — возразил аббат, — ты оспариваешь учение церкви, которая предписывает безбрачие, как самый верный путь в царство божие.

— Допустим, что церковь права, но ведь если бы все стали добрыми католиками, то род человеческий прекратился бы, дядюшка?

— У тебя чересчур много ума, Роза, его совсем не нужно столько, чтобы быть счастливой.

Такие слова вызывали улыбку удовольствия на устах бедной девушки и упрочивали выгодное мнение о собственной персоне, какое начинало у нее складываться. Вот так-то свет — друзья и недруги — оказывает поддержку нашим недостаткам! Тут беседа была прервана, так как один за другим стали приходить гости. В такие торжественные дни местные нравы допускали некоторую короткость между слугами и гостями. Мариетта, завидев председателя суда, первостатейного любителя хорошо покушать, заговаривала с ним:

— Ах, господин де Ронсере, я приготовила цветную капусту в сухарях именно для вас, потому что барышня знает, как вы любите это блюдо, и сказала мне: «Мариетта, не забудь про цветную капусту, к нам сегодня пожалует господин председатель!»

— Ах, эта добрая мадемуазель Кормон! — отвечал местный служитель правосудия. — Надеюсь, Мариетта, капусту приправляли не бульоном, а маслом? Так вкуснее!

Председатель суда отнюдь не гнушался заходить в кухонную палату совещаний, где Мариетта вершила свои дела, которые он оценивал взглядом чревоугодника и поддерживал советом знатока.

— Добрый день, сударыня, — обращалась Жозетта к г-же Грансон, которая всегда старалась подольститься к горничной, — мадемуазель позаботилась о вас — будет вам рыбное блюдо.

Что же касается шевалье де Валуа, то он говорил Мариетте непринужденным тоном знатного вельможи, который держит себя запросто:

— Ну-с, искуснейшая повариха, достойная креста Почетного легиона, не следует ли оставить место для какого-нибудь особенно лакомого кусочка?

— Да, да, господин де Валуа, будет заяц, привезенный из Пребоде, он весил четырнадцать фунтов!

— Прекрасно, — одобрял шевалье. — Ого, четырнадцать фунтов!

Дю Букье приглашения не получил. Мадемуазель Кормон, верная уже известной вам системе, порядком третировала этого пятидесятилетнего холостяка, к которому она питала какое-то безотчетное чувство, сокрытое в самых глубоких тайниках ее сердца; хотя она отказала ему, но по временам раскаивалась в этом; иногда ее охватывало как бы предчувствие, что рано или поздно она станет его женой, и вместе с тем ужас, который мешал ей желать этого брака. Под воздействием подобных мыслей душа ее была постоянно занята им. Республиканец геркулесовского сложения нравился ей, пускай она себе в этом и не признавалась. Хотя г-жа Грансон и шевалье де Валуа не могли уяснить себе противоречий мадемуазель Кормон, но, перехватив несколько раз простодушные красноречивые взгляды, которые она украдкой бросала исподлобья на г-на дю Букье, они оба старались разбить надежды бывшего поставщика, уже обманувшие его однажды, но еще не оставленные им. Двое приглашенных, занятые делами — что заранее служило им извинением, — заставили себя ждать; один из них — г-н дю Кудре, чиновник опекунского совета; другой — г-н Шенель, бывший управитель у д'Эгриньонов, стряпчий высшей аристократии, у которой он был принят и пользовался вполне заслуженным уважением, — между прочим, человек довольно состоятельный. Когда двое запоздавших пришли, Жаклен сказал им, видя, что те направляются в гостиную:

— *Они* все в саду.

Несомненно, желудки испытывали нетерпение, потому что чиновник опекунского совета — один из приятнейших людей в городе, достойный порицания только за то, что женился из-за денег на несносной старухе да постоянно отпускал нелепейшие каламбуры, которым сам же первый смеялся, — вызвал своим приходом легкий гул, каким в подобных случаях встречают последних запоздалых гостей. Дожидаясь обряда приглашения к столу, вся компания гуляла по площадке вдоль Бриллианты, разглядывая водяные растения, мозаику речного дна и живописные детали домиков, прикорнувших на другом берегу, их ветхие дощатые галерейки, окна с обветшалыми подоконниками, столбы, подпиравшие какую-нибудь покосившуюся лачугу, готовую упасть в речку, палисадники, где сушатся лохмотья, столярную мастерскую — словом, убогую окраину захолустного городишки, которой близость реки, ветви плакучей ивы, какой-нибудь куст роз придают бог знает что за прелесть, достойную кисти художника. Шевалье изучал лица всех присутствующих, так как ему было известно, что его зажигательный снаряд благополучно долетел до высших кругов города; но об этой важной новости касательно Сюзанны и г-на дю Букье вслух никто еще не обмолвился ни словом. Провинциалы в высшей степени владеют искусством процеживать сплетни; не наступил еще миг завести в гостиной беседу об этом странном приключении, нужно было всем сговориться. Поэтому гости шептали друг другу на ухо: «Вы знаете? — Да. — О дю Букье? — И красавице Сюзанне! — Мадемуазель Кормон ничего об этом не знает? — Нет. — А!» Хор сплетников звучал тихо и, постепенно нарастая, становясь все громче и громче, должен был грянуть во всю мощь за обедом, после того как подадут первую перемену. Вдруг шевалье де Валуа заметил г-жу Грансон, в зеленой шляпке, украшенной букетиками первоцветов; по лицу вдовы пробегал трепет. Не подмывало ли ее начать концерт? Хотя в однообразной жизни города подобная новость для всех была своего рода богатой золотоносной жилой, но наблюдательному и подозрительному шевалье показалось, что он увидел у этой старушки признаки какого-то особенно захватывающего чувства — радости по поводу торжества личных интересов!.. Он тотчас обернулся, чтобы всмотреться в Атаназа, и заметил, что тот погружен в многозначительное, сосредоточенное безмолвие. И вдруг взор, брошенный молодым человеком на бюст мадемуазель Кормон, сильно смахивавший на пару мощных литавров полкового оркестра, озарил душу шевалье внезапным светом. Эта вспышка позволила ему обозреть все прошлое.

«Ах, черт! — подумал он. — Какой щелчок я рискую получить».

Господин де Валуа подошел к мадемуазель Кормон, чтобы не упустить возможности предложить ей руку, когда пригласят к столу. Старая дева почтительно благоговела перед ним, ибо его имя и место, которое он занимал среди аристократических созвездий департамента, разумеется, делали его самым блестящим украшением ее салона. По совести говоря, мадемуазель Кормон вот уже двенадцать лет как желала стать госпожой де Валуа. Это имя служило своего рода ветвью, на которой держался целый рой представлений, возникавший в ее мозгу относительно знатности, ранга и внешних достоинств, требуемых ею от жениха; но если шевалье де Валуа был избранником ее души, разума и честолюбия, то эта старая развалина, хотя и завитая, как статуя Иоанна Крестителя в церковной процессии, отпугивала мадемуазель Кормон; если богачку и прельщал такой дворянин, то девицу Кормон не прельщал такой супруг. Вопреки замыслам шевалье, его показное равнодушие к вопросу о браке, а в особенности мнимая безупречность его жизни в доме, переполненном хорошенькими гризетками, чрезвычайно роняли его в ее глазах. Этот аристократ, действовавший безошибочно в деле с пожизненной рентой, здесь ошибся в расчетах. Мадемуазель Кормон сама не подозревала, что ее мысли о чересчур благонравном шевалье можно было бы выразить в следующих словах: «Как жаль, что в нем нет ни капельки беспутства!» Наблюдатели человеческого сердца, подметив склонность святош к негодяям, удивляются такому влечению, которое они считают несовместимым с христианской добродетелью. Но прежде всего можно ли предложить нравственной женщине что-нибудь завиднее, чем выпавшее на ее долю счастье очищать, подобно угольному фильтру, мутные воды порока? И как, с другой стороны, не понять, что для благородных созданий, которые придерживаются строгих устоев и тем самым нерушимо хранят супружескую верность, столь естественно желать многоопытного мужа. Негодники — большие знатоки женского сердца. Итак, бедная девушка сокрушалась, что чаша любви разделена была для нее надвое. Только всевышний мог бы слить воедино шевалье де Валуа и дю Букье. Чтобы сделать понятным смысл тех немногих слов, которыми сейчас предстояло обменяться мадемуазель Кормон с шевалье де Валуа, необходимо упомянуть о двух важных обстоятельствах, вызывавших в городе толки и резкие разногласия. Здесь, кстати сказать, не обошлось без тайного вмешательства дю Букье. Одно дело касалось алансонского священника, который некогда присягнул конституции, но ныне начинал преодолевать отвращение со стороны католиков-роялистов, являя пример высочайшей добродетели. То был Шеверюс[[26]](#footnote-26) в миниатюре, и его так стали ценить, что, когда он умер, весь город его оплакивал. Мадемуазель Кормон и аббат де Спонд принадлежали к «малой церкви», великой в своем благочестии и бывшей для римской курии тем, чем предстояло стать крайним роялистам для Людовика XVIII. Аббат де Спонд не признавал той церкви, которая скрепя сердце шла на соглашение с конституционалистами. Упомянутый священник не был принят в доме Кормон, зато там благоволили к кюре церкви св. Леонарда, аристократического прихода Алансона. Дю Букье, этот ярый либерал в шкуре роялиста, отлично знал, что недовольным, из которых черпает пополнение каждая оппозиция, необходимо объединяющее начало, и он уже успел привлечь симпатии среднего класса к этому кюре. А вот и второе дело. По тайному внушению все того же напористого дипломата в Алансоне зародилась мысль построить театр. Сеиды[[27]](#footnote-27) г-на дю Букье не знали своего Магомета, но именно поэтому они действовали с еще большим жаром, воображая, что защищают собственный замысел. Атаназ был одним из самых горячих поборников постройки зала для спектаклей и уже несколько дней хлопотал в различных отделах мэрии об этом предприятии, которому сочувствовала вся городская молодежь.

Дворянин предложил старой деве руку, чтобы пройтись по саду; она оперлась на нее, поблагодарив просиявшим взглядом за такое внимание, а шевалье произнес, хитро подмигнув в сторону Атаназа:

— Не следует ли вам, мадемуазель, поскольку вы прекрасно разбираетесь в вопросах общественного такта и притом состоите в некотором родстве с этим молодым человеком...

— Очень отдаленном! — перебила она.

— Не следует ли вам, — продолжал шевалье, — воспользоваться своим влиянием на мать и сына, чтобы предостеречь его от гибели? Не говорю уж о том, что он не весьма благочестив и поддерживает присягнувшего священника. Это еще не все! Есть кое-что посерьезнее; ведь он бросился, как полоумный, на путь оппозиции, не понимая, как его поведение отразится на всем его будущем! Он пустился на происки ради постройки театра; а сам — игрушка в руках этого замаскированного республиканца дю Букье.

— Боже мой, господин де Валуа, — отвечала мадемуазель Кормон, — его мать уверяет, что он умен, а он двух слов связать не может; только рот разевает, как ворона...

— ...или как воробей, которого провели на мя-*Кине* ! — подхватил чиновник опекунского совета. — Я поймал на лету вашу фразу. Мое почтение, господин шевалье де Валуа, — прибавил он, расшаркиваясь перед аристократом с такой же развязностью, какую Анри Монье приписывал Жозефу Прюдому[[28]](#footnote-28), этому на редкость типичному представителю класса, к которому принадлежал чиновник опекунского совета.

Господин де Валуа ответил на поклон сухо и свысока, как вельможа, который держит себя на известном расстоянии: затем он повлек мадемуазель Кормон к каким-то вазам с цветами, давая этим понять нарушителю их беседы, что желает избавиться от подслушивания.

— Да и каких идей хотите вы, — зашептал шевалье, наклоняясь к самому уху мадемуазель Кормон, — от юношей, воспитанных в этих отвратительных императорских лицеях? Быть порядочным человеком и принадлежать к хорошему обществу — вот чем порождается способность к возвышенным идеям и к истинной любви. Не трудно, глядя на него, предсказать, что бедный мальчик совсем лишится рассудка и бесславно сойдет в могилу. Взгляните, как он бледен и худ!

— Его мать уверяет, что он слишком много работает, — простодушно ответила старая дева, — он занимается по ночам — и, как вы думаете, чем? — читает и пишет! Что проку для карьеры молодого человека в том, что он пишет по ночам?

— Оттого в нем и чуть душа держится, — отозвался шевалье, стараясь направить мысли старой девы на такую почву, где, как он надеялся, с его помощью она почувствует отвращение к Атаназу. — Поистине ужасные нравы были в этих императорских лицеях.

— О да! — согласилась простушка. — Ведь их, кажется, выводили на прогулку под барабанный бой? А наставники их были нечестивее язычников. Бедные дети, их к тому же одевали в мундиры, совсем как солдат! Придет же такое в голову!

— И вот что из этого вышло, — сказал шевалье, указывая на Атаназа. — Виданное ли дело в мое время, чтобы молодой человек стыдился взглянуть на хорошенькую женщину! А он на вас глаз не подымает! Я тревожусь за этого юнца, потому что отношусь к нему с участием. Предупредите его, чтобы он перестал строить козни заодно с бонапартистами, как сейчас, когда он хлопочет о зрительном зале; пусть откажется вся эта мелюзга от своих бунтарских требований (потому что для меня конституционалист и бунтарь — синонимы!) — тогда городские власти сами выстроят театр. И еще посоветуйте его матушке получше присматривать за ним.

— О! Она запретит ему водить знакомство с этими людьми на половинном жалованье и бывать в дурной компании. Я сейчас поговорю с ним, — сказала мадемуазель Кормон, — иначе он того и гляди потеряет место в мэрии. А чем они тогда будут жить?.. Страшно подумать!

Как Талейран говорил вслух о своей жене, так шевалье подумал, глядя на мадемуазель Кормон: «Второй такой дуры во всем свете не сыщешь! Честное слово дворянина! Добродетель, доходящая до глупости, тот же порок! Но какая прелестная жена для человека моих лет! Какие правила! Какое неведение!»

Вы, конечно, сами понимаете, что этот монолог, обращенный к княгине Горице, сопровождался приготовлением очередной понюшки.

Госпожа Грансон догадалась, что шевалье ведет разговор об Атаназе. Торопясь узнать результаты этой беседы, она на приличном расстоянии в шесть шагов следовала за мадемуазель Кормон, которая направилась к молодому человеку. Но в эту минуту Жаклен пришел доложить, что кушать подано. Старая дева взглядом подозвала к себе шевалье. Галантный чиновник опекунского совета, который стал усматривать в обращении старого аристократа заносчивость, ибо в ту пору провинциальное дворянство уже возводило перегородку между собой и буржуазией, был очень рад опередить шевалье де Валуа; он оказался поблизости от мадемуазель Кормон и округлил руку, которую та и вынуждена была принять. Шевалье из дипломатических соображений бросился к г-же Грансон.

— Мадемуазель Кормон принимает живейшее участие в вашем милом Атаназе, сударыня, — заговорил он, медленно выступая позади вереницы гостей, — но это участие разлетится в прах по вине вашего сына; он неверующий, он либерал, он из кожи лезет из-за этого театра, знается с бонапартистами и сочувствует священнику-конституционалисту. Из-за такого поведения он может лишиться должности в мэрии. Вы же знаете, как придирчиво правительство короля. А если его уволят, где ваш дорогой Атаназ найдет себе другую службу? Смотрите, как бы он не уронил себя в глазах начальства!

— Я вам так признательна, сударь, — в тревоге проговорила бедная мать. — Вы правы, мой сын одурачен опасной шайкой, мне нужно немедленно открыть ему глаза.

Шевалье уже давным-давно, с первого взгляда, постиг душу Атаназа и распознал по некоторым признакам, как стойки его республиканские идеи, во имя которых готовы всем пожертвовать молодые люди его лет, увлеченные словом *вольность*, весьма неопределенным, весьма неясным, но являющимся для униженных знаменем восстания, — а восстание для них означает месть. Атаназ не мог не сохранять твердости в своей вере, ибо убеждения его исходили из страданий художника, из горестных наблюдений над социальным строем. Он не ведал, что в тридцать шесть лет, когда уже складывается мнение о людях, об их взаимоотношениях, о социальных нуждах, — в эту пору жизни убеждения, ради которых он теперь жертвовал всем своим будущим, должны были у него измениться, как это происходит с каждым человеком подлинно высокого ума. В Алансоне сохранять верность левым идеям означало вызвать неприязнь мадемуазель Кормон. Уж это г-н шевалье ясно понимал. Итак, алансонское общество, с виду такое мирное, внутри клокотало, под стать дипломатическим кругам, где хитрость, изворотливость, страсти, корыстолюбивые расчеты сосредоточиваются около важнейших вопросов международной политики.

Но вот гости стали усаживаться за стол, уставленный закусками, и принялись есть, как едят в провинции — не стыдясь своего аппетита, — а не так, как едят в Париже, где движение челюстей подчиняется неким особым законам, пытающимся действовать вопреки законам анатомии. Едят в Париже словно нехотя, там люди обманывают свое чревоугодие; в провинции же все делается естественно, и смысл жизни, быть может даже сверх меры, сосредоточен здесь на том великом и всеобщем деле насыщения желудков, на которое господь бог осудил свои творения. Когда с первой переменой было почти покончено, хозяйка дома бросила пресловутую реплику, о которой потом говорилось два с лишним года, — да она вспоминается и поныне в гостиных у мелких буржуа Алансона, если речь заходит о замужестве девицы Кормон. Когда повели атаку на предпоследнее жаркое, беседа стала весьма многословной, оживленной и, естественно, коснулась театра и священника, давшего присягу конституции. На первых порах, в 1816 году, те, кого позднее прозвали местными иезуитами, в своем ревностном служении роялизму хотели изгнать аббата Франсуа из его прихода. Дю Букье, обвиняемый г-ном де Валуа в том, что он поддерживает священника, что он — зачинщик всех козней, которые благородный шевалье готов был свалить на него с присущей ему ловкостью, — оказался на скамье подсудимых без защитника. Один лишь Атаназ был настолько прямодушен, что мог бы поддержать дю Букье, но он из скромности не решался излагать свои убеждения перед властелинами Алансона, хотя и считал их глупцами. Только в провинции еще встречаются молодые люди, которые соблюдают почтительность по отношению к пожилым людям, не позволяя себе ни восставать против них, ни перечить им. Беседа вдруг замерла, ибо на стол были поданы отменные утки с оливками. Мадемуазель Кормон, желая посоперничать со своими собственными утками, вздумала взять под защиту дю Букье, которого изобразили как гнусного интригана, способного перевернуть все вверх дном, и молвила:

— А я-то воображала, что господин дю Букье занят одним лишь ребячеством.

Замечание мадемуазель Кормон при создавшемся положении произвело действие удивительное. Она одержала полную победу — заставила княгиню Горицу уткнуться носом в стол. Шевалье, не ожидавший от своей Дульцинеи такого остроумия, пришел в восхищение и даже не сразу придумал похвалу, он бесшумно аплодировал кончиками пальцев, как принято рукоплескать в Итальянской опере.

— Она удивительно остроумна, — сказал он г-же Грансон. — Я всегда утверждал, что придет день и она покажет себя.

— А в интимной обстановке она просто обворожительна, — отвечала г-жа Грансон.

— В интимной обстановке, сударыня, все женщины умны, — заметил шевалье.

Когда взрыв гомерического хохота утих, мадемуазель Кормон захотела узнать, в чем же причина ее успеха. И тут-то хор сплетен зазвучал во всю мощь. Дю Букье превратили в матушку Жигонь[[29]](#footnote-29) мужского рода, в холостяка-чудовище, который-де вот уже пятнадцать лет самолично содержит воспитательный дом, целиком пополняемый его потомством. Наконец-то обнаружилось все безнравственное поведение поставщика. Оно было под стать его парижскому разгулу, и прочее, и прочее. Увертюра под управлением де Валуа — самого искусного дирижера в подобном оркестре — была великолепна.

— Не знаю, право, — с добродушнейшим видом сказал шевалье, — кто бы мог помешать этому дю Букье жениться на некоей мадемуазель Сюзанне *Как-Ее-Там* ? Ведь вы говорите, ее зовут Сюзета? Правда, я живу у госпожи Лардо, но знаю этих девчонок лишь в лицо. Ежели эта Сюзон и есть та высокая стройная красотка с серыми глазами и маленькими ножками, у которой походка (хоть я, признаться, особенно не разглядывал) показалась мне весьма вызывающей, то, надо сказать, ее манеры гораздо изысканнее, чем у дю Букье. В Сюзанне есть по крайней мере благородство красоты; подобный брак в этом смысле был бы для нее мезальянсом. Знаете ли вы, что, когда император Иосиф возымел желание увидеть дю Барри в Люсьенне, он предложил ей пройтись под руку; бедная девица, пораженная такой честью, не решалась принять его руку, но император сказал ей: «Красавица — всюду королева». Заметьте, это был австрийский немец, — добавил шевалье, — и поверьте мне, Германия, слывущая у нас совсем неотесанной, на самом деле — страна рыцарского обхождения и прекраснейших манер, особенно поближе к Польше и Венгрии, где можно встретить...

Тут шевалье внезапно умолк, боясь слишком прямо намекать на свое личное счастье. Он только взял табакерку и поверил конец анекдота княгине, улыбавшейся ему целых тридцать шесть лет.

— Для Людовика Пятнадцатого это было слишком тонко, — сказал дю Ронсере.

— Да ведь как будто речь шла об императоре Иосифе, — возразила мадемуазель Кормон тоном сведущего человека.

— Видите ли, сударыня, — ответил шевалье, перехватив лукавые взгляды, которыми обменялись председатель суда, нотариус и член опекунского совета, — госпожа дю Барри была Сюзанной для Людовика Пятнадцатого, обстоятельство, которое хорошо знают такие вертопрахи, как мы, но не должны знать молодые девицы. Ваше неведенье доказывает, что вы бриллиант чистейшей воды: рассказы о пороках исторических лиц прошли мимо ваших ушей.

Аббат де Спонд ласково взглянул на шевалье де Валуа и одобрительно наклонил голову.

— Разве мадемуазель не знакома с историей? — спросил чиновник опекунского совета.

— Вы припутываете Сюзанну к Людовику Пятнадцатому и еще хотите, чтобы я знала вашу историю, — отвечала кротким тоном мадемуазель Кормон, испытывая истинное наслаждение оттого, что блюда с утками были опустошены и гости так оживленно беседовали, а при последних словах хозяйки все смеялись с набитыми ртами.

— Бедное создание! — проговорил аббат де Спонд. — Если стряслась беда, то милосердие, — а эта божественная любовь столь же слепа, как и любовь языческая, — должно закрывать глаза на вину. Вы, племянница, стоите во главе Общества вспомоществования матерям, надобно помочь этой девушке, ведь ей будет нелегко найти себе мужа.

— Жалко ребенка! — произнесла мадемуазель Кормон.

— Как по-вашему, женится на ней дю Букье? — спросил председатель суда.

— Был бы он порядочным человеком, женился бы, — ответила г-жа Грансон, — но, право же, мой пес гораздо нравственнее

— Ну, я думаю, ваш Азор ему не уступит, — с гонкой улыбкой вставил чиновник опекунского совета, желая блеснуть остроумием.

За десертом все еще говорили о дю Букье, сыпали шутками, которым вино придало игривость. Каждый гость, подзадоренный опекунским чиновником, отвечал на каламбур каламбуром. Говорили, что теперь па-*пеньку* потреплют, что довольно блаженствовал па-*паша* в своем гареме, теперь па-*пулей* вылетит из порядочного общества, что уж слишком подобные па-*почки* распустились, что па-*пашенька* плодородием никому не удружит; что дю Букье, попав в *папки*, попадет в переплет.

— В чаду любви плотской пребывая, помнит ли о *чадо* любии? Сомнительно, — сказал аббат де Спонд серьезным тоном, так что все сразу перестали смеяться.

— Да, на роли *благородных отцов* он не подходит, — поддержал шевалье де Валуа.

Церковь и дворянство снизошли до арены каламбуров, сохраняя все свое достоинство.

— Тсс! — произнес опекунский чиновник. — Слышите, дю Букье скрипит своими сапогами с отворотами, что нынче нам особенно *отвратительно* слышать.

Почти всегда случается, что человек и не догадывается о своей дурной славе; весь город занят им, на него клевещут, имя его позорят, но если у него нет друзей, он так ничего и не узнает. И невинный дю Букье, дю Букье, которому так хотелось быть виновником нежданного события, который только и мечтал о том, чтобы Сюзанна не солгала, дю Букье был бесподобен в своем неведении; никто и не обмолвился о том, что Сюзанна обличила его, и каждый к тому же считал неудобным спрашивать его о таком щепетильном деле, ибо человек, которого это касается, иной раз вынужден молчать и хранить тайну. Но все усмотрели что-то непристойное и даже вызывающее в самом появлении дю Букье, вошедшего в тот миг, когда все общество перешло пить кофе из столовой в гостиную, где уже собралось несколько вечерних гостей.

Мадемуазель Кормон, смешавшись, не решалась взглянуть на страшного обольстителя; она завладела Атаназом и принялась поучать его добронравию, излагая ему нелепейшие общие места роялистской политики и религиозной морали. У бедного поэта не было, как у шевалье де Валуа, табакерки, украшенной портретом княгини, ему негде было укрыться от потока глупостей, и он, с тупым видом внимая той, кого боготворил, взирал на ее огромный бюст, дышавший невозмутимым покоем, который присущ всему необъятному. Страсть пьянила юношу и превращала пискливый голосок старой девы в сладостный шепот, а ее глупые рассуждения — в глубокомысленные речи.

Любовь — это удивительный фальшивомонетчик, постоянно превращающий не только медяки в золото, но нередко и золото в медяки.

— Итак, Атаназ, вы мне обещаете?

Эти заключительные слова поразили слух счастливого молодого человека, как пробуждает нас внезапный шум.

— Что обещаю, мадемуазель? — переспросил он.

Мадемуазель Кормон порывисто встала, глядя на дю Букье, напоминавшего в тот миг толстого бога торговли, которого Республика изображала на своих серебряных монетах[[30]](#footnote-30); она подошла к г-же Грансон и шепнула ей:

— Бедный друг, а ведь ваш сын просто бестолков. Лицей погубил его, — добавила она, вспомнив, что шевалье де Валуа распространялся о дурном воспитании лицеистов.

Какой громовой удар! Бедный Анатаз, сам того не зная, мог разжечь пламя в сердце старой девы; если бы он прислушивался к ее словам, то заставил бы ее понять его страсть, ибо мадемуазель Кормон пребывала в том взволнованном состоянии, когда достаточно одного слова, но до глупости жадные желания, свойственные молодой и истинной любви, погубили его; так порою, по неведению, убивает себя дитя, полное жизни.

— Что ты сказал мадемуазель Кормон? — спросила госпожа Грансон у сына.

— Ничего.

«Ничего? Это я выясню!» — подумала она, откладывая на завтра все важные дела, ибо, в своей уверенности, что дю Букье пал в глазах старой девы, не придала значения ее словам.

Вскоре шестнадцать игроков заняли свои места за четырьмя столами. Четверо гостей избрали пикет, игру самую большую и рискованную. Г-н Шенель, прокурор и две дамы отправились в красный лаковый кабинет сыграть партию в триктрак. Были зажжены канделябры; общество мадемуазель Кормон, расположившееся у камина в креслах, вокруг столов, все разрасталось с каждой вновь прибывавшей четой, которая неизменно спрашивала мадемуазель Кормон:

— Итак, завтра вы уезжаете в Пребоде?

— Что поделаешь — нужно! — следовал ответ.

По всему было видно, что хозяйка дома чем-то озабочена. Г-жа Грансон первая заметила необычное состояние старой девы: мадемуазель Кормон размышляла.

— О чем вы думаете, кузина? — наконец спросила она, входя в будуар, где сидела мадемуазель Кормон.

— У меня из ума не идет эта бедная девушка, — ответила она. — Я не я буду, если, как председательница Общества вспомоществования матерям, не потребую у вас для нее десять экю!

— Десять экю! — воскликнула г-жа Грансон. — Но вы же никогда столько не давали!

— Но, милая моя, так естественно иметь детей!

Эти безнравственные слова, сказанные от всего сердца, ошеломили казначею Общества вспомоществования матерям. По-видимому, дю Букье вырос в глазах мадемуазель Кормон.

— Поистине, дю Букье не только изверг, но и подлец, — сказала г-жа Грансон. — Сумел причинить зло, сумей расплатиться. Его дело, а не наше помочь этой девчонке, которая при всем том кажется мне большой негодяйкой, ибо в Алансоне можно было найти получше этого циника дю Букье! Нужно быть очень распутной, чтобы завести с ним шашни.

— Циник? Вы, моя дорогая, переняли у вашего сына все эти непонятные латинские слова. Конечно, я не собираюсь оправдывать господина дю Букье, но объясните мне, в чем тут распутство, если женщина предпочла одного мужчину другому?

— Дорогая кузина, допустим, вы бы вышли за моего сына Атаназа, что было бы вполне естественно, так как он молод, хорош собой, подает надежды, он прославит Алансон. А все бы попросту решили, что вы взяли себе такого молодого мужа для полноты счастья; злые языки болтали бы, что вы заготовили свое счастье впрок, чтобы никогда не иметь в нем недостатка; вероятно, нашлись бы завистницы, которые обвинили бы вас в развращенности. Эка важность! Вы были бы сильно и искренне любимы. Атаназ кажется вам бестолковым потому, моя дорогая, что у него избыток ума; крайности сходятся. Что правда — то правда, он живет как пятнадцатилетняя девочка: уж он-то не испачкался в парижской грязи!.. Ну что ж! Примените к другим ту же пропорцию, как говаривал мой бедный муж: точно так обстоит дело между дю Букье и Сюзанной; только то, что в отношении вас было бы клеветой, в отношении дю Букье — сама истина. Вы понимаете?

— Не больше, чем китайскую грамоту, — ответила мадемуазель Кормон, широко раскрыв глаза и напрягая все силы своего разума.

— Так вот, кузина, раз уж приходится ставить точки над i, скажу вам, что Сюзанна не может любить дю Букье. А если сердце ни при чем в подобном деле...

— Но, кузина, как же любить, если не сердцем?

Тут г-жа Грансон мысленно сказала то, что думал шевалье де Валуа: «Бедненькая кузина непозволительно глупа».

— Дорогое дитя, — продолжала она вслух, — мне кажется, для того чтобы рожать детей, мало одной только духовной любви.

— Как же, моя дорогая, ведь и пресвятая дева...

— Но, милочка, дю Букье не святой дух!

— Правда, — согласилась старая дева, — он мужчина! И мужчина такого типа, что друзья из предосторожности должны заставить его жениться.

— Вы можете, кузина, добиться этого...

— Ну! Каким образом? — произнесла старая дева с жаром христианской любви к ближнему.

— Не принимайте его у себя до тех пор, пока он не женится; в данном случае ваш долг, во имя благопристойности и благочестия, подать пример порицания.

— По приезде из Пребоде я еще с вами об этом потолкую, дорогая моя госпожа Грансон. Надо посоветоваться с дядюшкой и с аббатом Кутюрье, — сказала мадемуазель Кормон, выходя в гостиную, где оживление достигло высшего предела.

Яркий свет, нарядные женщины, торжественный тон, внушительный вид этого собрания, весь его аристократический блеск преисполняли мадемуазель Кормон гордостью не в меньшей степени, чем ее гостей. Многие считали, что ничего лучшего не увидишь и в Париже, в самых избранных кругах. Тем временем дю Букье, который играл в вист с г-ном де Валуа и двумя престарелыми дамами, г-жой дю Кудре и г-жой дю Ронсере, служил предметом скрытого любопытства. Несколько молодых женщин, притворяясь, что интересуются игрой, поглядывали на него, правда, украдкой, но так странно, что старый холостяк в конце концов встревожился, не допустил ли он какой-либо оплошности в своем туалете.

«Не сдвинулся ли у меня парик?» — подумал он, испытывая одну из тех смертельных тревог, которые терзают старых холостяков.

Он воспользовался своим проигрышем, закончившим седьмой роббер, чтобы встать из-за стола.

— Я не могу взять ни одной карты в руки, не потерпев неудачи, — сказал он, — мне решительно не везет в игре.

— Вам везет в другом, — сказал шевалье, бросая на него лукавый взгляд.

Разумеется, это словцо местного Талейрана обежало гостиную, где каждый вслух восхищался тонким остроумием шевалье.

— Находчивее господина де Валуа не сыскать, — сказала племянница кюре церкви св. Леонарда.

Дю Букье пошел посмотреться в продолговатое зеркальце над «Дезертиром» и не нашел в своем отражении ничего из ряда вон выходящего. После бесчисленных повторений все той же темы, видоизменяемой на все лады, около десяти часов произошло отплытие из длинной, как пристань, прихожей; не обошлось без проводов, устроенных мадемуазель Кормон для своих любимцев, с которыми она на прощанье целовалась на крыльце. Расходились группами — одни по Бретонской дороге и в направлении к замку, другие — в сторону квартала, выходящего на берег Сарты. Обычно тогда начинались разговоры, вот уже двадцать лет раздававшиеся в этот час на этой улице. Обычно тогда звучали все одни и те же слова: — У мадемуазель Кормон нынче вечером был прекрасный вид. — У мадемуазель Кормон? Она показалась мне странной. — Как дряхлеет этот бедный аббат! Вы заметили — он все дремлет? Он уже не знает, где его карты, он стал забывчив. Скоро нам придется, увы, потерять его. — Прекрасная погода, завтра будет хороший день! Чудесные стоят дни для отцветающих яблонь. — Вы нас обыграли, как всегда, когда вместе с вами играет господин де Валуа. — Сколько же он выиграл? — За сегодняшний вечер — три или четыре франка. Он никогда не проигрывает. — Да, да. А не забудьте, что в году триста шестьдесят пять дней. Этак можно выиграть на покупку целой фермы. — Ах! Как нам пришлось отбиваться сегодня! — Вам позавидуешь, господа, вы уже дома, а нам надо пройти еще полгорода. — Мне вас не жалко, вы в состоянии завести одноколку, а ходите пешком. — Ах, сударь! Приданое дочери отнимает у нас одно колесо, содержание сына в Париже — другое. — Вы по-прежнему готовите его в чиновники? — К чему же надобно, по-вашему, готовить молодых людей?.. И потом, служить королю не зазорно.

Порой в дороге шли толки о сидре или льне, постоянно в одних и тех же словах и в одно и то же время года. Живи на этой улице какой-нибудь наблюдатель сердца человеческого, он по этим разговорам всегда узнавал бы, какой наступил месяц.

Но в этот вечер раздавались только игривые шутки, потому что дю Букье, одиноко шагавший впереди других, напевал, не подозревая, насколько это выходило кстати, знаменитую арию: «О нежный друг, ты слышишь детский лепет?..» По мнению многих, г-н дю Букье был человеком дельным, которого не оценили. С тех пор как новым королевским постановлением дю Ронсере был утвержден на посту председателя суда, он все больше тяготел к дю Букье. По мнению других, поставщик был человеком опасным, безнравственным, способным на все. В провинции, как и в Париже, тот, кто на виду, подобен статуе из прекрасной аллегорической сказки Аддисона[[31]](#footnote-31): два рыцаря, съехавшиеся с разных сторон на перекресток, где высится эта статуя, сшиблись из-за нее, ибо один говорил, что она белая, другой считал ее черной; когда же они оба, уже поверженные наземь, видят, что она белая справа и черная слева, к ним на помощь является третий и находит, что она красная.

Возвращаясь домой, шевалье де Валуа размышлял: «Пора распустить слух о моей женитьбе на мадемуазель Кормон. Сведения эти распространятся из салона д'Эгриньонов, проникнут прямым путем на улицу Сеэз к епископу, вернутся через главного викария к кюре церкви св. Леонарда, который не преминет сказать об этом аббату Кутюрье; таким образом, мадемуазель Кормон об этом узнает, и мой снаряд пробьет брешь в осаждаемой крепости. Старый маркиз д'Эгриньон пригласит аббата де Спонда на обед, чтобы пресечь сплетню, которая повредила бы мадемуазель Кормон, если бы я высказался против такой комбинации, и мне, если бы я был отвергнут. Аббат, как и следует ожидать, совсем запутается; к тому же мадемуазель Кормон не устоит перед визитом мадемуазель д'Эгриньон, которая докажет ей величие и плодотворность этого союза. Наследство аббата превышает сто тысяч экю, сбережения девицы должны достигать двухсот тысяч ливров с лишком, у нее свой дом, Пребоде и пятнадцать тысяч ливров ренты. Одно слово моему другу графу де Фонтэну, и я — мэр Алансона, депутат; а затем, заняв место на скамье правых, мы добьемся и пэрства, издавая клич: «Довольно прений!» или: «К порядку!»

Госпожа Грансон, вернувшись домой, крупно поговорила с сыном, никак не желавшим понять, что за связь между его политическими взглядами и любовью. Это была первая размолвка, нарушившая мирную жизнь бедного семейства.

Наутро, в девять часов, мадемуазель Кормон, погрузившись вместе с Жозеттой в одноколку и возвышаясь, подобно пирамиде, над ширью своего багажа, подымалась по улице Сен-Блез по направлению к Пребоде, где с ней должно было случиться неожиданное событие, ускорившее ее замужество и не предвиденное ни г-жой Грансон, ни дю Букье, ни г-ном Валуа, ни самой мадемуазель Кормон. Случай искуснее на выдумку, чем любой писатель.

На другой день после приезда в Пребоде, в восемь часов утра, за завтраком, когда мадемуазель Кормон, ничего не подозревая, выслушивала донесения сторожа и садовника, в столовую вторгся оторопелый Жаклен.

— Мадемуазель, — сказал он, — господин аббат прислал вам письмо с нарочным, с сыном тетушки Громор. Мальчишка вышел из Алансона на рассвете, и, глядите-ка, он уже здесь. Он бежал так, что, поди, угнался бы за Пенелопой! Не дать ли ему стаканчик вина?

— Что могло стрястись, Жозетта? Уж не дядюшка ли...

— Он бы тогда не написал, — ответила горничная, угадав опасения своей госпожи.

— Скорей! Скорей! — крикнула мадемуазель Кормон, пробежав первые строки. — Пусть Жаклен запрягает Пенелопу. Постарайся, милая, чтобы в полчаса все было снова уложено, — сказала она Жозетте. — Мы возвращаемся в город.

— Жаклен! — крикнула Жозетта, уступая нетерпению, выразившемуся на лице мадемуазель Кормон.

Жаклен, наученный Жозеттой, придя в комнату, сказал:

— Как быть, мадемуазель? Ведь я только что задал Пенелопе овса.

— Какое мне дело? Я хочу сейчас же уехать.

— Но, мадемуазель, собирается дождь!

— Ну что ж! Придется помокнуть.

— Прямо как на пожар, — пробормотала Жозетта, уязвленная молчанием, которое хранила ее хозяйка, дочитывая письмо, читая и перечитывая его снова.

— Допейте же по крайней мере кофе, поберегите себя! Посмотрите, какая вы красная.

— Я красная, Жозетта? — сказала старая дева, направляясь к зеркалу с облупившейся амальгамой, показавшему ее лицо вдвойне искаженным. «Боже мой! — подумала мадемуазель Кормон. — Что, как я покажусь некрасивой!» — Живее, Жозетта, идем, помоги, милая, мне одеться. Я хочу быть готовой, когда Жаклен запряжет Пенелопу. В случае, если ты не успеешь уложить весь багаж в одноколку, я лучше оставлю его здесь, чем потеряю хотя бы одну минуту.

Если вы в полной мере поняли, как далеко зашла мадемуазель Кормон в своей мании во что бы то ни стало выйти замуж, вы разделите ее волнение. Почтенный дядюшка извещал свою племянницу, что г-н де Труавиль, внук его лучшего друга, отставной военный русской службы, захотел поселиться на покое в Алансоне и просил приютить его, во имя дружеских чувств, которые аббат питал к его деду, виконту де Труавилю, контр-адмиралу при Людовике XV. Придя в смятение, бывший старший викарий настоятельно просил племянницу вернуться, чтобы помочь ему принять гостя и поддержать честь дома, ибо письмо несколько задержалось в пути и г-н де Труавиль мог нагрянуть нынче же вечером. При подобной вести что значили заботы о каком-нибудь Пребоде? В такой момент сторож и садовник — свидетели необычайного волнения хозяйки — притихли, ожидая распоряжений. Когда она проходила мимо, они остановили ее, думая получить от нее указания, но в первый раз в жизни мадемуазель Кормон, эта самовластная старая дева, следившая в Пребоде за всем лично, сказала: *делайте, как хотите!* — отчего на слуг напал столбняк — ведь административные заботы госпожи простирались даже на учет и сортировку фруктов, чтобы распределять их в хозяйстве соответственно запасу тех или иных сортов.

— Не сон ли это все? — сказала Жозетта, видя, как ее госпожа летает по лестнице, подобно слону, которого бог одарил бы крыльями.

Невзирая на ливень, мадемуазель покинула Пребоде, оставив своих слуг полными хозяевами в усадьбе. Жаклен не осмелился на свой страх принять меры, чтобы подбавить прыти смирной Пенелопе, которая, уподобившись прекрасной царице, чье имя она носила, казалось, делала столько же шагов назад, сколько и вперед. Видя этот аллюр, мадемуазель резко приказала Жаклену пустить бедную перепуганную лошадь в галоп хотя бы ударами кнута: так старая дева боялась, что не успеет прилично убрать дом для приема г-на де Труавиля. По ее подсчетам, внуку дядюшкиного друга было не больше сорока лет; как военный, он, бесспорно, еще не женат, поэтому она давала себе слово, что с помощью дяди не выпустит г-на де Труавиля из своего дома, пока он не расстанется со своей холостяцкой свободой. Хотя Пенелопа пустилась вскачь, мадемуазель Кормон, поглощенная думами о своих нарядах и мечтами о супружеской жизни, несколько раз говорила Жаклену, что они ползут, как черепаха. Она вертелась на своем месте, не отвечая на расспросы Жозетты, и разговаривала сама с собой, как человек, обдумывающий великие планы. Наконец одноколка доехала до главной улицы Алансона, которая со стороны Мортани зовется улицей Сен-Блез, возле «Гостиницы Мавра» носит уже название улицы Порт де Сеэз, а выходя на Бретонскую дорогу, становится улицей дю Беркай. Если отъезд мадемуазель Кормон каждый раз получал в Алансоне большую огласку, то можно себе представить, как должна была прогреметь весть о ее возвращении на другой же день по приезде в Пребоде, да еще в проливной дождь, который хлестал ее по лицу, но, казалось, нисколько ее не беспокоил. Всем бросилась в глаза бешеная скачка Пенелопы, да еще в столь ранний час, лукавый вид Жаклена, сваленные как попало узлы и, наконец, оживленная беседа Жозетты и мадемуазель Кормон, а в особенности их нетерпение. Поместья дома де Труавиль были расположены между Алансоном и Мортанью. Жозетта знала представителей различных ветвей рода Труавилей. Одно слово, оброненное барышней при въезде в город, ввело Жозетту в суть дела; после оживленного обсуждения они сообща установили, что ожидаемый де Труавиль, по всей вероятности, был дворянином сорока — сорока двух лет, холостым, не богатым и не бедным. Мадемуазель Кормон уже видела себя виконтессой де Труавиль.

— И подумать только, что дядюшка ничего не сообщает, ничего не знает, ни о чем не осведомлен! О, как это на него похоже! Он способен был бы потерять собственный нос, не держись тот крепко на его лице!

Вы, вероятно, заметили, что при подобных обстоятельствах старые девы ни в чем не уступают Ричарду III; они становятся остроумны, жестоки, смелы, щедры, и тогда им, словно подвыпившим клеркам, море по колено. Сразу же весь Алансон, от верхнего конца улицы Сен-Блез до Порт де Сеэз, узнал об этом поспешном возвращении, связанном с важными обстоятельствами; потрясающая новость понеслась по всем каналам общественной и частной жизни города. Кухарки, лавочники, прохожие передавали эту весть друг другу из дома в дом; затем она поднялась в высшие сферы. Вскоре не было семейства, где бы слова «Мадемуазель Кормон вернулась!» не произвели действия разорвавшейся бомбы. Между тем Жаклен спрыгнул с козел, которые он, за свою долголетнюю кучерскую службу, отполировал по способу, неизвестному краснодеревцам; он сам отворил закругленные вверху зеленые ворота, запертые в знак траура: в отсутствие мадемуазель Кормон дом всегда был закрыт для гостей, и его верные посетители угощали по очереди аббата де Спонда, а г-н де Валуа, чтобы не остаться в долгу, приглашал его на обед к маркизу д'Эгриньону. Жаклен по своему обыкновению ласково покликал Пенелопу, которую оставил посреди улицы; лошадь, приученная к этому маневру, сама сделала поворот, вошла в ворота и обогнула двор так, чтобы не попортить цветник. Жаклен взял ее под уздцы и подвел одноколку к крыльцу.

— Мариетта! — крикнула мадемуазель Кормон.

Но Мариетта была уж тут как тут — она запирала ворота.

— Я здесь, барышня!

— Гость не приехал?

— Нет, барышня.

— А дядюшка?

— Он в церкви, барышня.

Жаклен и Жозетта уже стояли на первой ступеньке крыльца и протягивали руки, чтобы помочь хозяйке, которая вылезла из одноколки и ступила на оглоблю, держась за кожаные фартуки. Мадемуазель бросилась в объятия слуг — уже два года, как она не рисковала пользоваться железной подножкой, прикрепленной к одноколке двойной скобой и ужасным приспособлением из двух больших болтов. Взобравшись на крыльцо, мадемуазель Кормон удовлетворенно оглядела двор.

— Мариетта, перестаньте возиться с воротами, идите сюда.

— Сущий содом! — сказал Жаклен Мариетте, когда она поравнялась с одноколкой.

— Ну, милая моя, что у тебя есть из провизии? — спросила мадемуазель Кормон, усаживаясь на скамью в длинной прихожей с видом человека, изнемогающего от усталости.

— Да нет у меня ничего, — ответила Мариетта, упершись кулаками в бока. — Вы же знаете, барышня, когда вас нет, господин аббат дома не обедает; вчера обедал у мадемуазель Арманды, я ходила за ним вечером.

— А сейчас где он?

—— Господин аббат в церкви, он вернется не раньше трех.

— Дядюшка ни о чем не думает. Что бы ему послать тебя на рынок! Мариетта, отправляйся на рынок немедленно; не сори деньгами, но не жалей ничего, бери все самое лучшее, вкусное, тонкое. Пойди узнай в конторе дилижансов, как выписать паштеты. Мне нужны раки из ручьев Бриллианты. Который час?

— Да уж скоро десять.

— Ради бога, Мариетта, не теряй времени на болтовню. Дядюшкин гость может приехать с минуты на минуту; славно будет, нечего сказать, если придется подать ему завтрак...

Мариетта повернулась ко взмыленной Пенелопе и посмотрела на Жаклена с таким видом, точно хотела заметить: «На этот раз мадемуазель не выпустит из рук жениха».

— У нас с тобой особые дела, Жозетта, — заговорила старая дева, — надо подумать, где мы устроим спальню для господина де Труавиля.

С каким блаженством были сказаны слова *спальню для господина де Труавиля* (она произносила *Тревиля* ); сколько смысла было вложено в них! Старую деву переполняли надежды.

— Не угодно ли вам поместить его в зеленой комнате?

— В комнате монсиньора епископа? Нет, она находится слишком близко от моей, — сказала мадемуазель Кормон. — Это хорошо для монсиньора, человека святой жизни.

— Предоставьте ему комнату вашего дядюшки.

— Она до неприличия пуста.

— Да что там! Прикажите, мадемуазель, и в два счета кровать поставим в вашем будуаре, там, кстати, и камин есть. Моро живо найдет в своей лавке кровать, подходящую к обшивке стен.

— Ты права, Жозетта. Ну что ж, беги к Моро; посоветуйся с ним обо всем, я тебя уполномочиваю. Я согласна, но при условии, что кровать (кровать для господина де Труавиля!) поставят сегодня к вечеру, незаметно для господина де Труавиля, даже если он застанет Моро еще здесь. А не возьмется Моро за это, так я положу господина де Труавиля в зеленой комнате, хотя там он будет слишком близко от меня.

Жозетта уже уходила, когда хозяйка снова позвала ее.

— Объясни все Жаклену — пусть он сам пойдет к Моро, а ты останься! — закричала она громким голосом, исполненным ужаса. — Надо же мне одеться! Что, если господин де Труавиль застанет меня в таком виде, а дядюшки-то нет, чтобы принять его! Ах, дядюшка, дядюшка! Ступай сюда, Жозетта, ты меня оденешь.

— А как же Пенелопа? — неосторожно молвила Жозетта.

Первый раз в жизни у мадемуазель Кормон сверкнули глаза.

— Вечно эта Пенелопа! Пенелопа тут, Пенелопа там! Пенелопа, что ли, хозяйка в этом доме?

— Но она вся в мыле, и ей еще не задали овса.

— Да пусть она околеет! — воскликнула мадемуазель Кормон. — «Лишь бы я вышла замуж!» — мысленно добавила она.

Столь кощунственные речи на минуту озадачили Жозетту; но одно движение госпожи — и она кубарем скатилась с крыльца.

— Жаклен, барышня белены объелась! — было первым словом Жозетты.

Так в этот день все складывалось для блестящего спектакля, решающего в жизни мадемуазель Кормон. Уже и без того весь город был взбудоражен пятью отягчающими положение обстоятельствами, которыми сопровождался внезапный приезд мадемуазель Кормон, а именно: проливным дождем; бешеным галопом несчастной Пенелопы, которая прискакала вся в мыле, тяжело поводя боками; необычно ранним часом приезда; беспорядочно сваленными узлами и, наконец, совершенно растерянным видом старой девы. Но когда Мариетта произвела опустошительный набег на рынок, когда Жаклен в поисках кровати явился к лучшему мебельщику Алансона, что на улице Порт де Сеэз, в двух шагах от церкви, — это дало материал для самых серьезных догадок. Странное происшествие обсуждалось на Проспекте, на гулянье; оно занимало всех, даже мадемуазель Арманду, у которой пребывал шевалье де Валуа. На протяжении двух дней Алансон был взволнован событиями столь важными, что некоторые кумушки восклицали: «Светопреставление, да и только!» Эта свежая новость во всех домах приводила к жгучему вопросу: «Что-то теперь происходит у Кормонов?» Аббат де Спонд — которого очень ловко выспросили, когда он, выйдя из церкви св. Леонарда, вместе с аббатом Кутюрье отправился погулять по Проспекту — простодушно разъяснил, что ждет виконта де Труавиля, дворянина, который служил во время эмиграции в России и теперь возвращается на жительство в Алансон. С двух до пяти по всему городу работал своеобразный устный телеграф; он оповестил алансонцев, что мадемуазель Кормон наконец-то нашла себе мужа путем переписки и собирается выйти за виконта де Труавиля. Одни говорили: «Моро уже делает кровать», другие добавляли: «Кровать будет на шести ножках». На улице дю Беркай, у г-жи Грансон, ей оставляли только четыре ножки. «Попросту кушетка», — уверяли у дю Ронсере, где обедал дю Букье. Мелкая буржуазия утверждала, что кровать стоила тысячу сто франков. Но сходились на одном: это все *шкура неубитого медведя*. Дальше больше, — вздорожали карпы! Мариетта, набросившись на рынок, опустошила его дочиста. Вверху улицы Сен-Блез считали, что Пенелопа, должно быть, уже околела. Ее смерть, впрочем, подверглась сомнению у главноуправляющего окладными сборами. В префектуре же было достоверно известно, что лошадь испустила дух, огибая ворота особняка Кормон, — с такой быстротою старая дева гналась за своей добычей. Шорник с угла улицы Порт де Сеэз, набравшись смелости, явился якобы узнать, не повреждена ли таратайка мадемуазель Кормон, а на самом деле — выведать, не пала ли Пенелопа. От верхнего конца улицы Сен-Блез до нижнего конца улицы дю Беркай стало известно, что благодаря попечению Жаклена Пенелопа, эта безгласная жертва страстей своей госпожи, еще жива, но, кажется, захворала. По мнению тех, кто жил на Бретонской дороге, виконт де Труавиль был младшим сыном в семействе, без гроша за душой, ибо владения в Пéрше принадлежали маркизу де Труавилю, пэру Франции, отцу двоих детей. Для неимущего эмигранта этот брак был бы большим счастьем, да и для мадемуазель Кормон виконт был подходящим женихом; аристократия, жившая по Бретонской дороге, одобряла этот брак: старая дева не могла бы лучше употребить свое состояние. Но в глазах буржуазии виконт де Труавиль был русским генералом, который сражался против Франции и возвратился с огромным богатством, нажитым при санкт-петербургском дворе; это, мол, был *иностранец*, один из *союзников*, ненавистных либералам. Аббат де Спонд был, мол, тайным посредником в этом браке. Все, кто был вхож к мадемуазель Кормон без особых приглашений, решили во что бы то ни стало побывать у нее вечером. Среди этого общегородского переполоха, почти вытеснившего из памяти алансонцев Сюзанну, мадемуазель Кормон была, конечно, взволнована больше всех; она испытывала совсем новые чувства. Оглядывая свою гостиную, свой будуар, кабинет, столовую, она была охвачена жестоким опасением. Какой-то злой дух с насмешкой указывал ей на эту старинную роскошь; прекрасные вещи, которыми она с детства восхищалась, были взяты под сомнение, признаны старомодными. Короче говоря, она испытывала страх, который овладевает писателями, когда они читают свое творение, на их взгляд верх совершенства, какому-нибудь придирчивому или пресыщенному критику: оригинальные положения выглядят избитыми; наиболее изящные, тщательно отделанные обороты оказываются вдруг неясными или нескладными; образы нелепы и противоречивы, надуманность бросается в глаза. Так и бедная девушка трепетала, представляя себе презрительную усмешку на устах г-на де Труавиля при виде этой гостиной в епископальном духе; она страшилась поймать холодный взгляд, брошенный на эту старинную столовую; наконец, она боялась, как бы рама не старила картину, — что если все эти древности бросят и на нее свой отсвет? От такого вопроса, заданного самой себе, ее мороз подирал по коже. В это время она бы отдала четверть своих сбережений за то, чтоб возможно было в одну минуту, одним мановением волшебного жезла, преобразить весь дом. И, право, каким же фанфароном должен быть тот генерал, которого не пробирает дрожь накануне битвы! Бедная девушка чувствовала себя между Аустерлицем и Ватерлоо.

— Виконтесса де Труавиль, — твердила она мысленно, — прекрасное имя! По крайней мере наше богатство перешло бы к хорошему роду.

Она была во власти возбуждения, которое заставляло дрожать тончайшие разветвления ее нервов, столь давно затопленные жиром. Вся ее кровь, подхлестываемая надеждой, была в движении. Она чувствовала в себе силу, если понадобится, вести беседу с г-ном де Труавилем. Излишне говорить, какую деятельность развили Жозетта, Жаклен, Мариетта, Моро и его подручные. Это было усердие муравьев, занятых укладкой яиц. Все, что и так благодаря ежедневной уборке сияло безукоризненной чистотой, было заново выстирано, выглажено, вычищено, натерто. Парадный фарфор увидел свет. Камчатные скатерти, помеченные буквами А, В, С, D, покинули глубины сундуков, где они покоились под охраной тройной обертки, защищенные грозным строем булавок. Пересмотрены были наиболее ценные полки библиотеки. Наконец, мадемуазель не поскупилась на три бутылки знаменитого ликера г-жи Анфу, одной из самых прославленных среди заморских виноделов, — имя, любезное сердцам знатоков. Благодаря самоотверженности своих военачальников мадемуазель могла принять бой. Различные виды оружия, амуниция, кухонная артиллерия, батарея кладовой, провиант, боевые припасы, резервные части находились в полной готовности по всему фронту. Жаклену, Мариетте, Жозетте было приказано надеть парадную форму. Дорожки в саду были подчищены. Старая дева жалела, что нельзя сговориться с соловьями, гнездившимися в листве, и заказать им к вечеру самые красивые трели. Наконец в четвертом, часу, как раз когда вернулся аббат де Спонд, а мадемуазель уже подумывала, что зря она так нарядно накрыла стол и приготовила изысканнейший обед, с улицы Валь-Нобль донеслись резкие звуки.

«Он!» — подумала Роза, чувствуя, что звуки эти отзываются у нее в самом сердце.

И впрямь, предваренный столькими сплетнями, дорожный кабриолет с пассажиром спустился по улице Сен-Блез, свернул на улицу дю Кур и произвел такую сенсацию, что несколько мальчишек и взрослых последовали за ним и столпились у ворот особняка Кормон, чтобы посмотреть, как гость войдет в дом. Жаклен, чуявший близость собственной свадьбы, заслышав хлопанье бича еще на улице Сен-Блез, распахнул ворота настежь. Кучер, его знакомец, постарался лихо завернуть и со всего разгона осадил лошадей перед крыльцом. Разумеется, Жаклен угостил его в людской и отпустил, как полагается, сильно навеселе. Аббат вышел навстречу гостю, пока кабриолет разгружался с быстротой, на какую способны лишь воры, да и то в спешке. Экипаж поставили в каретник, ворота заперли, и в одну минуту не осталось никаких следов приезда г-на де Труавиля. Никогда два химических вещества не соединялись так быстро, как дом Кормон поглотил виконта де Труавиля. Хоть сердце мадемуазель стучало, словно у ящерицы, пойманной пастухом, она героически оставалась в своем кресле у камина. Жозетта открыла дверь, и виконт де Труавиль в сопровождении аббата де Спонда предстал перед старой девой.

— Племянница, — господин виконт де Труавиль, внук одного из моих школьных друзей. Господин де Труавиль, — моя племянница, мадемуазель Кормон.

«Ах! Милый дядюшка, как он умело представил нас друг другу», — подумала Роза-Мария-Виктория.

Виконт де Труавиль, если обрисовать его в двух словах, был дю Букье-дворянин. Они рознились друг с другом лишь так, как рознятся грубая и благородная породы. Находись они сейчас оба тут, ни один самый ярый либерал не мог бы отрицать существование аристократии. Сила виконта отличалась изяществом; он сохранил великолепную осанку; у него были голубые глаза, черные волосы, смуглая кожа; ему, по всей вероятности, было не более сорока шести лет. Вы бы сказали, что это испанец, красота которого хорошо сохранилась в снегах России. Манеры, походка и поза выдавали дипломата, повидавшего Европу. Одет он был так, как полагается быть одетым в дороге человеку из общества. Г-н де Труавиль казался усталым; аббат предложил ему пройти в предназначенную для него комнату и был изумлен, когда племянница открыла будуар, превращенный в спальню. Мадемуазель Кормон и ее дядюшка предоставили заезжему гостю заняться своим туалетом с помощью Жаклена, который принес все нужные свертки. Аббат де Спонд, в ожидании, когда г-н де Труавиль приведет себя в порядок, пошел прогуляться с племянницей по берегу Бриллианты. Хотя аббат де Спонд, по странному совпадению, проявлял большую, чем обычно, рассеянность, мадемуазель Кормон была погружена в свои думы не менее его. Оба шли молча. Старая дева никогда не встречала мужчины столь обаятельного, как этот олимпиец-виконт. Она не могла сказать себе на немецкий манер: «Вот мой идеал!», — но чувствовала себя с головы до ног влюбленной и твердила про себя: «Вот то, что мне нужно!» Вдруг она сорвалась и полетела к Мариетте, чтобы узнать, можно ли подождать с обедом, не перестоится ли он.

— Дядюшка, этот господин де Труавиль весьма любезен, — сказала она вернувшись.

— Но, дочь моя, он еще не перемолвился с нами ни единым словом! — смеясь, возразил аббат.

— Однако это видно по его манерам, по лицу. Он холост?

— Не знаю, право, — ответил старик, который размышлял по поводу своего оживленного спора с аббатом Кутюрье о сущности благодати. — Господин де Труавиль писал мне, что хочет приобрести здесь дом. Будь он женат, он бы приехал не один, — продолжал он беспечно, ибо не допускал, что его племянница может помышлять о браке.

— Он богат?

— Он младший в младшей ветви, — ответил дядя. — Его дед командовал эскадрой; но отец этого молодого человека неудачно женился.

— Молодой человек! — повторила старая дева. — Но мне кажется, дядюшка, что ему добрых сорок пять лет, — сказала она, ибо безмерно желала, чтобы их лета совпадали.

— Да, — сказал аббат. — Но, Роза, бедному семидесятилетнему священнику сорокалетний мужчина кажется молодым.

В это время весь Алансон уже знал, что к мадемуазель Кормон приехал виконт де Труавиль. Вскоре гость присоединился к хозяевам и стал восхищаться видом на Бриллианту, садом и домом.

— Господин аббат, — сказал он, — я бы ничего больше не хотел, как найти жилище, подобное этому.

Старая дева узрела в его фразе признание и потупила глаза.

— Вам, вероятно, здесь очень нравится, мадемуазель? — продолжал виконт.

— Как же мне может здесь не нравиться? Этот дом принадлежит нашей семье с 1574 года, когда один из наших предков, управитель герцога Алансонского, приобрел здесь землю и построил это здание, — сказала мадемуазель Кормон. — Оно стоит на сваях.

Жаклен доложил, что обед подан, и г-н де Труавиль предложил руку осчастливленной деве, которая старалась не слишком сильно опираться на нее, боясь показаться навязчивой!

— Здесь все так созвучно, — заметил виконт, садясь за стол.

— У нас даровая музыка — в нашем саду на деревьях полным-полно птиц: никто их не трогает, и песня соловья звучит всю ночь напролет, — сказала мадемуазель Кормон.

— Я говорю о созвучности всей обстановки в вашем доме, — разъяснил виконт, который не взял на себя труд приглядеться к старой деве и даже не заметил скудости ее ума. — Да, все здесь стóит друг друга — краски, мебель, лица.

— О, дом обходится нам дорого, налоги огромны, — ответила непревзойденная девица, уловив слово *стóит*.

— Вот как! Здесь большие налоги? — спросил виконт, слишком поглощенный своими мыслями, чтобы заметить нескладицу.

— Я не знаю, — отвечал аббат. — Племянница ведает и своим и моим состоянием.

— Налоги — это пустяки для богатых людей, — снова заговорила мадемуазель Кормон, которая вовсе не хотела показаться скупой. — Что до мебели, я ее оставлю, как она есть, без изменения, по крайней мере до замужества; а уж тогда здесь все должно быть по вкусу хозяина.

— У вас превосходные правила, мадемуазель, — с улыбкой сказал виконт, — вы осчастливите супруга.

«Никогда никто не говорил мне таких красивых слов», — подумала старая дева.

Виконт похвалил распорядок дома и сервировку, признавшись, что считал провинцию отсталой, а сказывается, она весьма *комфортабельна*.

«Боже мой, что бы значило это выражение? — подумала мадемуазель Кормон. — Как на грех, нет шевалье де Валуа, он бы ответил! Ком-фор-та-бель-на! Не состоит ли это из нескольких слов? Ну-ка, смелее, возможно, это русское слово, откуда же мне его знать?»

— Но у нас здесь, сударь, самое блестящее общество, — снова заговорила она, набравшись смелости, чувствуя, что язык ее развязан, и проявляя вдруг то красноречие, которое обретают почти все человеческие существа при важных обстоятельствах. — У меня собирается весь город. Нынче же вы сможете сами судить об этом, ибо кое-кто из наших верных друзей безусловно уже узнал о моем возвращении и не замедлит навестить меня. Есть у нас знатный вельможа, шевалье де Валуа, он был принят при старом дворе, человек необычайно тонкого ума и вкуса; затем маркиз д'Эгриньон и его сестра мадемуазель Арманда (но тут мадемуазель Кормон прикусила язык и решила поправить дело)... девушка в своем роде замечательная, — добавила она. — Отказалась от замужества, чтобы оставить все свое состояние брату и племяннику.

— Ах, да! — произнес виконт. — Д'Эгриньоны... я припоминаю.

— Алансон — очень оживленный город, — продолжала старая дева, как заведенная. — Здесь много веселятся, главноуправляющий окладными сборами дает балы, префект — человек весьма обходительный; иногда монсиньор епископ удостаивает нас своим посещением...

— Ну, значит, я хорошо сделал, — засмеялся виконт, — решив вернуться сюда, чтобы, как заяц, умереть в своей норе.

— И я тоже, — сказала старая дева, — как заяц, не покину родного гнездышка.

Поговорку, повторенную в столь странном виде, виконт счел шуткой и улыбнулся.

«Ах, — произнесла про себя старая дева, — все идет хорошо, вот этот меня понимает!»

Беседа велась на избитые темы. Благодаря действию таинственной, непостижимой силы мадемуазель Кормон, подстрекаемая желанием быть любезной, находила в своем мозгу все обороты шевалье де Валуа. Это была как бы дуэль, в которой сам черт нацеливал дуло пистолета. Никогда еще противник не был лучше взят на мушку. Виконт был слишком светским человеком, чтобы говорить о великолепии обеда, — но само его молчание казалось похвалой. Смакуя дивные вина, щедро подливаемые ему Жакленом, он словно вновь, с острой радостью, обретал своих лучших друзей: настоящий ценитель не рукоплещет, он наслаждается. Г-н де Труавиль полюбопытствовал о ценах на земли, дома, места под застройку, он заставил мадемуазель Кормон долго описывать место слияния Бриллианты и Сарты. Удивлялся, что город расположен далеко от большой реки, топография края живо его занимала. Молчаливый аббат предоставил племяннице нить разговора. Мадемуазель всерьез поверила, что развлекает г-на де Труавиля, который ей благосклонно улыбался и, как ей казалось, запутался во время этого обеда больше, чем ее наиболее рьяные женихи запутывались в две недели. К тому же, заметьте, никогда еще ни одного гостя она не окружала такими заботами и не баловала таким вниманием. Право, как будто нежно лелеемый любовник осчастливил дом своим возвращением. Мадемуазель предупредительно подавала виконту хлеб, она не сводила с него глаз; стоило ему отвернуться, как она незаметно подкладывала ему кушанье, если оно, казалось, пришлось ему по вкусу; будь он чревоугодником, она бы до смерти его закормила; но не являлось ли это прекрасным образцом того, что она рассчитывала делать и в дни супружества? У нее хватило ума не ударить лицом в грязь, она смело распустила паруса, подняла флаг, держала себя королевой Алансона и похвастала своим вареньем. В конце концов она стала без зазрения совести хвалить самое себя, как будто уже не осталось никого, кто мог бы ее славословить. Она заметила, что нравится виконту, ибо надежды так ее преобразили, что она стала почти женщиной. За сладким она не без тайной радости прислушивалась к суете в прихожей, к шуму в гостиной — вестникам сбора ее обычного кружка. Она указала на эту поспешность дядюшке и г-ну де Труавилю, усмотрев доказательство любви к ней в том, что являлось лишь результатом мучительного любопытства, охватившего весь город. Горя нетерпением показаться во всем своем величии, мадемуазель Кормон велела Жаклену подать кофе и ликеры в гостиную, куда, на диво всему избранному обществу, слуга принес великолепный кофейный прибор саксонского фарфора, извлекаемый на свет из шкапа лишь дважды в год. Все эти обстоятельства были подмечены гостями, злословившими под шумок.

— Черт побери! — воскликнул дю Букье. — Да ведь это ликеры госпожи Анфу, которые в доме подаются только четыре раза в год, по большим праздникам!

— Положительно пахнет свадьбой. Должно быть, все устроили путем переписки, еще год назад, — сказал председатель суда г-н дю Ронсере. — Вот уже год, как директор почтовых контор получает письма со штемпелем Одессы.

Госпожа Грансон вздрогнула. Господин шевалье де Валуа, у которого побледнела даже левая щека, несмотря на то, что он пообедал за четверых, почувствовал, что вот-вот выдаст свою тайну, и сказал:

— Не находите ли вы, что сегодня холодно? Я озяб!

— Это веяние России, — произнес дю Букье.

Шевалье посмотрел на него так, словно хотел сказать: «Молодцом держишься!»

Мадемуазель Кормон появилась такая сияющая, такая торжествующая, что показалась всем красивой. Этот необычайный блеск был вызван не только чувством; вся ее кровь с утра бушевала в ней, и нервы трепетали в ожидании решительных событий — лишь совокупность всех этих обстоятельств могла столь неузнаваемо изменить ее. Как она была счастлива, торжественно представляя виконта — шевалье, а шевалье — виконту, весь Алансон — господину де Труавилю, господина де Труавиля — всему Алансону! Случилось так — впрочем, по вполне понятным причинам, — что виконт и шевалье, эти две аристократические натуры, в тот же миг почувствовали друг в друге нечто близкое, каждый из них видел в другом человека своего круга. Они разговорились, стоя у камина. Их обступили, и к их беседе, хотя она и велась вполголоса, прислушивались в благоговейном молчании. Чтобы верно схватить эффект этой сцены, нужно представить себе мадемуазель Кормон, спиной к камину, занятую приготовлением кофе для того, с кем она была уже помолвлена молвою.

Г-н де Валуа.

— Говорят, господин виконт, вы приехали обосноваться здесь?

Г-н де Труавиль.

— Да, сударь, я приехал купить дом... (*мадемуазель Кормон повертывается с чашкой в руке* ). А мне нужен большой дом, чтобы разместить... (*мадемуазель Кормон протягивает чашку* ) свою семью (*в глазах старой девы потемнело* ).

Г-н де Валуа.

— Вы женаты?

Г-н де Труавиль.

— Уже шестнадцать лет, на дочери княгини Шербеловой.

Мадемуазель Кормон упала как подкошенная; увидев, что она зашаталась, дю Букье бросился к ней и подхватил ее на руки; перед ним распахнули дверь, чтобы он мог свободно пройти со своей огромной ношей. Пылкий республиканец нашел в себе силы, действуя по указанию Жозетты, отнести старую деву в спальню и уложить ее на кровать. Вооружившись ножницами, Жозетта разрезала чрезмерно туго затянутый корсет. Дю Букье грубо брызнул водой в лицо мадемуазель Кормон и на ее грудь, обширную, как Луара в половодье. Больная открыла глаза, увидела дю Букье и, узнав его, стыдливо вскрикнула. Дю Букье вышел, уступив место шести женщинам, которые явились в спальню во главе с г-жой Грансон, сиявшей от радости. Как поступил шевалье де Валуа? Верный своей системе, он прикрыл отступление.

— Бедняжка мадемуазель Кормон, — обратился он к г-ну де Труавилю, не спуская глаз с присутствующих и сразу пресекая смех высокомерным взглядом, — она страдает полнокровием, а не хотела пустить себе кровь перед отъездом в Пребоде (ее имение), и вот результат; приливы всегда усиливаются весной.

— Она вернулась сегодня утром в дождь, — сказал аббат де Спонд, — и, вероятно, немного простудилась, а это вызвало маленький приступ, она им подвержена. Но все обойдется.

— Она говорила мне третьего дня, что с ней это не случалось уже три месяца, и добавила, что крайне опасается, как бы здоровье не подвело ее, — продолжал шевалье.

«Ах! Так ты женат!» — мысленно произнес Жаклен, глядя на г-на де Труавиля, который попивал свой кофе маленькими глотками. Верный слуга разделял разочарование своей госпожи. Он догадливо унес ликеры г-жи Анфу, предназначавшиеся для холостого человека, а не для мужа какой-то русской женщины. Все эти мелочи были подмечены и дали повод к насмешкам. Аббат де Спонд знал, что привело г-на де Труавиля в Алансон, но по рассеянности ничего об этом не сказал, — так далек он был от мысли, что племянница заинтересуется г-ном де Труавилем. Что касается виконта, то, поглощенный целью своего путешествия и, подобно большинству мужчин, не склонный много говорить о своей жене, он не имел повода объявить себя женатым; впрочем, он думал, что мадемуазель Кормон знает об этом. Вернулся дю Букье, и его подвергли бесконечному допросу. В гостиную спустилась одна из шести женщин с вестью, что пришел врач, что мадемуазель Кормон значительно лучше, но она должна оставаться в постели и, очевидно, придется пустить ей кровь. Вскоре гостиная была полна. Пользуясь отсутствием мадемуазель Кормон, дамы пространно судили и рядили, они разукрашивали, расцвечивали, преувеличивали, раздувала только что разыгравшуюся при участии мадемуазель Кормон трагикомическую сцену, которой предстояло на следующий день стать достоянием всего Алансона.

— Славный этот господин дю Букье, и как только он вас донес! Что за силач! — сказала Жозетта своей хозяйке. — Он побледнел, когда вам стало дурно; значит, он вправду все еще вас любит.

Фразой этой завершился торжественный и ужасный день.

Наутро рассказы о малейших обстоятельствах этой комедии обежали все дома Алансона, и, не к чести этого города, надо сказать, все поголовно хохотали. Но самые неугомонные насмешники поразились бы величию мадемуазель Кормон, будь они свидетелями того, как на другой день, после кровопускания, которое ей очень помогло, она с благородным достоинством и великолепной христианской покорностью судьбе подала руку невольному мистификатору, чтобы идти завтракать. Вам, жестокие шутники, высмеивавшие ее, не мешало бы послушать, как она говорила виконту:

— Госпоже де Труавиль будет нелегко найти здесь подходящую квартиру; прошу вас, сударь, располагайте моим домом на все время, пока вы не устроитесь.

— Но, мадемуазель, у меня две девочки и два мальчика, мы бы вас очень стеснили.

— Не отказывайте мне, — сказала она, сокрушенно глядя на него.

— Я вам это предлагал в ответном письме, которое я на всякий случай послал, — сказал аббат, — но вы его не получили.

— Как, дядюшка, вы знали...

Несчастная девица осеклась. Жозетта вздохнула. Ни виконт де Труавиль, ни дядя ничего не заметили. После завтрака аббат де Спонд повел виконта, как было решено накануне, осмотреть имеющиеся в Алансоне продажные и пригодные для застройки участки.

Оставшись одна в гостиной, мадемуазель Кормон сказала жалобно Жозетте:

— Милая, теперь я стала притчей всего города.

— Ну что ж, надо выйти замуж, сударыня!

— Но, милая, я совершенно не подготовлена сделать выбор.

— Подумать только! Я бы на вашем месте остановилась на господине дю Букье.

— Жозетта, господин де Валуа говорит, что это такой республиканец!..

— Все ваши господа сами не знают, что говорят: ведь они твердят, что он обворовывал Республику, стало быть, он не очень-то ее жаловал, — возразила Жозетта, выходя из комнаты.

«Эта девушка большая умница», — подумала мадемуазель Кормон, оставшись одна, во власти мучительных сомнений.

Она ясно видела, что только поспешное замужество положило бы конец всем толкам. Этот последний, явно позорный, провал в состоянии был довести ее до крайности, ибо люди, не наделенные умом, нелегко отказываются от раз намеченного пути, хорошего или дурного. Оба старых холостяка поняли, в каком положении должна была очутиться старая дева: поэтому и тот и другой решили непременно зайти к ней с утра пораньше — осведомиться о здоровье и, выражаясь по-холостяцки, *закинуть удочку*. Г-н де Валуа рассудил, что обстоятельства требуют особенно тщательного туалета, он принял ванну, он прихорашивался больше обычного. В первый и последний раз довелось Цезарине видеть, с каким непревзойденным искусством он наложил легкий слой румян. А дю Букье, этот неотесанный мужлан, подстрекаемый упрямой волей, махнул рукой на свой туалет, но зато явился первым. Подобные мелочи решают судьбы людей так же, как и судьбы государства. Атака Келлермана при Маренго, прибытие Блюхера а Ватерлоо[[32]](#footnote-32), презрение, высказанное Людовиком XIV принцу Евгению[[33]](#footnote-33), дененский кюре[[34]](#footnote-34) — все это важные причины удач или крушений; история их отмечает; однако ни для кого они не служат уроком, чтобы предусматривать все мелочи в собственной жизни. А между тем глядите, что получается! Герцогиня де Ланже (см. «Историю тринадцати») постригается в монахини из-за того, что у нее не хватило терпения подождать десять минут; следователь Попино (см. «Дело об опеке») откладывает на один день допрос маркиза д'Эспара; Шарль Гранде возвращается через Бордо, вместо того чтобы вернуться через Нант, — и все это именуется случайностью, роком. Минута, потребная, чтобы наложить на щеки легкий слой румян, разрушила все надежды шевалье де Валуа; этот дворянин должен был погибнуть именно так: он жил под покровительством Граций, и ему суждено было пасть от их руки. В тот миг, как шевалье бросил последний взгляд на свой туалет, толстяк дю Букье ввалился в гостиную безутешной девы. Он угодил в ту минуту, когда среди ее размышлений, в которых все преимущества, так или иначе, были на стороне шевалье, мелькнула одна-единственная мысль в пользу республиканца. «Сам бог того хочет», — подумала старая дева, увидев дю Букье.

— Мадемуазель, не истолкуйте превратно мою поспешность; мне не хотелось поручать этому остолопу Ренэ справиться о вашем здоровье, поэтому я пришел сам.

— Я совершенно здорова, — ответила она растроганно. — Благодарствуйте, господин дю Букье, — произнесла она после небольшой паузы с особенным выражением в голосе, — за проявленную вами заботу и за хлопоты, которые я вам вчера причинила...

Она вспомнила себя в объятиях дю Букье, и этот случай в особенности показался ей проявлением воли неба. Впервые она предстала перед мужчиной в подобном виде: с разорванным поясом, с разрезанной шнуровкой, со всеми своими женскими сокровищами, грубо извлеченными из скрывавшего их футляра.

— Нести вас было для меня таким удовольствием, что я даже не почувствовал тяжести.

Тут мадемуазель Кормон так посмотрела на дю Букье, как не смотрела еще ни на одного мужчину в мире. Ободренный поставщик бросил на старую деву многозначительный взгляд, пронзивший ее сердце.

— Я сожалею, — добавил он, — что это не дало мне права удержать вас навеки в своих руках. (Она внимала ему с восхищением.) Говоря между нами, в беспамятстве, там, на кровати, вы были прелестны. Ни разу в жизни не видел я женщины красивее, а я перевидал их немало на своем веку!.. Полные женщины тем-то и хороши, что стоит им только показать свою красоту, и они уже торжествуют победу.

— Вы изволите смеяться надо мной, — пролепетала старая дева. — Как нехорошо! И без того весь город, вероятно, злословит о том, что приключилось со мною вчера.

— Не будь я дю Букье, сударыня, если чувства мои к вам не оставались всегда неизменны. Ваш отказ не мог заставить меня расстаться с заветными моими надеждами.

Старая дева потупила взор. Настала минута молчания, тягостного для дю Букье. Но мадемуазель Кормон уже решилась, она подняла глаза, полные слез, и нежно поглядела на дю Букье.

— Если это так, сударь, — проговорила она дрожащим голосом, — обещайте мне только жить по-христиански, никогда не перечить моим религиозным привычкам, оставить за мной право выбирать себе духовников, и я отдаю вам руку, — сказала она, протягивая ее поставщику.

Дю Букье схватил эту славную, толстую руку, полную экю, и благоговейно облобызал ее.

— Но я попрошу вас еще об одном, — продолжала мадемуазель Кормон, не отнимая руки.

— На все согласен, если это неисполнимо — исполню! (Заимствование у Божона.)

— Увы! — начала старая дева. — Во имя любви ко мне вам придется взять на душу грех, тяжкий грех, я знаю, ибо ложь — один из семи смертных грехов; но вы покаетесь потом, не правда ли? Мы вместе искупим его... (Они нежно посмотрели друг на друга.) А возможно, это будет ложь, которую сама церковь называет «ложь во спасение»?

«Не оказалась бы и эта вроде Сюзанны, — мелькнуло в голове у дю Букье. — Мне везет».

— Итак, мадемуазель? — произнес он вслух.

— Вы должны, — продолжала она, — сами объявить...

— Что?

— Что наш брак был решен еще полгода тому назад.

— Очаровательница! — произнес поставщик тоном безгранично преданного человека. — На подобную жертву можно согласиться лишь ради той, которую боготворишь уже десять лет.

— И это несмотря на всю мою суровость? — спросила она.

— Да, несмотря на всю вашу суровость.

— Господин дю Букье, я была несправедлива к вам.

Она снова протянула ему свою толстую, красную руку, которую дю Букье снова поцеловал.

В эту минуту дверь отворилась, и помолвленные, посмотрев, кто идет, увидели восхитительного — но опоздавшего! — шевалье де Валуа.

— А, прекрасная владычица дум моих! — произнес он, входя. — Вы уже на ногах?

Она улыбнулась шевалье и почувствовала, что сердце ее сжалось. Г-н де Валуа, замечательно моложавый и обольстительный, походил на Лозена, входящего в Пале-Рояль к принцессе королевской крови.

— Ну-с, любезный дю Букье, — проговорил он насмешливо, настолько он был уверен в успехе, — господин де Труавиль и аббат де Спонд измеряют ваш дом, как присяжные оценщики.

— По чести говоря, — отозвался дю Букье, — пожелай только виконт де Труавиль, и за сорок тысяч франков я готов отдать ему свой дом: мне он теперь ни к чему. Если мадемуазель позволит... Да ведь рано или поздно, а надо сказать... Мадемуазель, можно объявить?

— Да!

— *Ну-с, любезный шевалье*, — сказал бывший поставщик, — будьте же первым, кому я объявляю... (мадемуазель Кормон потупилась) о чести, о милости, которую оказала мне мадемуазель и которую я держу в секрете уже около полугода. Через несколько дней — наша свадьба, брачный контракт уже готов, завтра мы его подпишем. Вы сами понимаете, что мой дом на улице Синь мне больше не понадобится. Я исподволь подыскивал покупателя, и вполне естественно, что аббат де Спонд, *знавший об этом*, повел господина де Труавиля ко мне...



Эта грубая ложь казалась настолько правдоподобной, что шевалье попался на нее. Слова *любезный шевалье* были своего рода реваншем Петра Великого Карлу XII под Полтавой за прежние поражения. Для дю Букье это была сладкая месть за тысячи молча проглоченных колкостей; но, упоенный победой, он мальчишеским жестом провел по волосам и... сдвинул парик.

— Поздравляю вас обоих, — с подчеркнутой приятностью произнес шевалье, — и желаю вам кончить тем, чем кончаются все волшебные сказки: *они жили-поживали и добра наживали, и было у них много детей*. — И он принялся разминать понюшку. — Только, сударь мой, вы забыли, что... носите парик, — добавил он саркастически.

Дю Букье покраснел, парик его на десять дюймов съехал на затылок. Мадемуазель Кормон взглянула, увидела голый череп и целомудренно опустила глазки. Дю Букье метнул на шевалье самый ядовитый взгляд, какой когда-либо останавливала жаба на своей жертве.

«Чертовы аристократы, вы пренебрегали мной, но будет день, и я уничтожу вас всех!» — подумал он.

Шевалье де Валуа вообразил, что он снова добился перевеса. Но мадемуазель Кормон была совсем не из тех девиц, что способны понять связь между париком дю Букье и пожеланием де Валуа; впрочем, если бы она и поняла — ее рука была отдана. Для шевалье стало ясно, что все потеряно. Действительно, заметив, что мужчины безмолвствуют, простодушная дева решила развлечь их.

— Сыграйте-ка вдвоем в пикет, — сказала она без всякого умысла.

Дю Букье усмехнулся и, в качестве будущего хозяина дома, пошел за ломберным столиком. Шевалье де Валуа — то ли совсем потеряв голову, то ли желая тут же на месте узнать причину своего поражения и помочь беде — поплелся за поставщиком покорно, как баран, которого ведут на убой. Он получил, словно обухом по голове, самый тяжелый удар, какой когда-либо постигал мужчину; ведь может и дворянин быть, по меньшей мере, ошеломлен. Вскоре возвратились достойный аббат де Спонд и виконт де Труавиль. Мадемуазель Кормон тотчас же вскочила, выбежала в прихожую и, отведя дядюшку в сторону, поведала ему на ухо о своем решении. Узнав, что дом на улице Синь подходит господину де Труавилю, она попросила будущего супруга сделать ей одолжение — сказать, якобы дядя знал, что дом продается. Она боялась доверить эту ложь аббату из-за его рассеянности. Ложь процветала вовсю, как если бы это была сама добродетель. Вечером весь Алансон узнал важную новость. Целых четыре дня город был взбудоражен не меньше, чем в дни событий злополучных 1814—1815 годов. Одни недоверчиво смеялись, другие допускали возможность такого брака; эти порицали, те одобряли. Среднее сословие алансонцев торжествовало, расценивая помолвку как свою победу. На другой день шевалье де Валуа в кругу друзей произнес убийственные слова:

— Кормоны кончают тем, с чего начали! От управителя до поставщика — рукой подать!

Весть о выборе, сделанном мадемуазель Кормон, поразила бедного Атаназа в самое сердце, но он ничем не выдал ужасного смятения, овладевшего им. О помолвке он узнал в доме председателя суда дю Ронсере, где его мать играла в бостон. Г-жа Грансон взглянула на сына в зеркало, и ей показалось, что он побледнел; но он был бледен еще с утра, потому что неясные слухи об этой помолвке уже дошли до него. Мадемуазель Кормон была для Атаназа картой, на которую он ставил свою жизнь, и его уже охватывало леденящее предчувствие гибели. Когда душа и воображение преувеличивают размеры несчастья и взваливают его непосильным бременем на плечи и чело; когда ускользает долго лелеемая надежда, которая своим осуществлением укротила бы огненного ястреба, вонзившего когти в сердце; когда человек, не рассчитывая на свои силы, теряет веру в себя, когда он теряет веру в будущее, не полагаясь на всемогущество божье, — он разбивается насмерть. Атаназ по своему воспитанию был продуктом императорской эпохи. Вера в судьбу — религия императора — спустилась с трона до самых последних рядов армии и даже до школьных скамей.

Атаназ, уставившись глазами в карты г-жи дю Ронсере, стоял в каком-то оцепенении, а потому казался безучастным, и г-жа Грансон решила, что она заблуждалась относительно чувств сына. Мнимое безразличие Атаназа объясняло его отказ принести в жертву этому браку свои *либеральные* воззрения — слово, созданное незадолго до того специально для императора Александра и пущенное в ход, если не ошибаюсь, г-жой де Сталь, через Бенжамена Констана. Начиная с этого рокового вечера несчастный юноша избрал для своих прогулок самое живописное место на берегу Сарты, откуда рисовальщики, облюбовавшие Алансон, делают наброски его видов. Тут расположено несколько мельниц. Река оживляет однообразие полей. Берега Сарты украшены изящными, картинно разбросанными купами деревьев. Местность, хотя и плоская, не лишена скромной прелести, характерной для Франции, где свет не слепит глаза восточной яркостью, а туманы не удручают душу чрезмерной продолжительностью. Это была пустынная окраина. В провинции никто не интересуется красотами природы, то ли от пресыщения, то ли от полного отсутствия поэтической жилки. Если в провинции существуют аллеи, места для прогулок, какая-нибудь площадка, откуда глазам открываются дали, — туда никто не ходит. Атаназ полюбил этот уединенный, оживляемый рекою уголок, где под первыми улыбками вешнего солнца уже зеленели луга. Те, кому случалось видеть, как он сидит там под тополем, кто ловил на себе его проникновенный взгляд, иногда говорили г-же Грансон: «У вашего сына есть что-то на душе».

— Я знаю, чем он занят! — отвечала мать с довольным видом, давая понять, что он обдумывает какой-то большой труд.

Атаназ перестал вмешиваться в политику, он больше не высказывал своего мнения; но по временам он казался почти веселым, иронически веселым, как тот, кто поносит в душе весь мир. Этот юноша, не разделявший ни провинциальных взглядов, ни провинциальных удовольствий, мало кого занимал, он даже не возбуждал ничьего любопытства. Если кто заговаривал о нем с его матерью, то только из внимания к ней. Душа Атаназа не находила отклика ни в чьей другой душе; ни одна женщина, ни один друг не пришли осушить его слезы, он ронял их в воды Сарты. Если бы в это время здесь появилась великолепная Сюзанна, сколько бед предотвратила бы встреча этих двух существ, ибо они полюбили бы друг друга! А она все-таки приехала сюда. Рассказ об одном довольно необычайном происшествии, завязка которого произошла около 1799 года в «Гостинице Мавра», пробудил честолюбие Сюзанны и потряс ее детски-капризное воображение. Некая парижская девица, прелестная, как ангел, была подослана полицией обольстить маркиза де Монторана[[35]](#footnote-35), одного из шуанских главарей, назначенных Бурбонами; она встретилась с ним в «Гостинице Мавра», как раз когда он возвращался из похода в Мортань; она его обольстила и предала. Эта легендарная особа, эта власть красоты над мужчиной, все отношения между Мари де Верней[[36]](#footnote-36) и маркизом де Монтораном поразили Сюзанну: с первых дней своей сознательной жизни она стремилась играть мужчинами. Через несколько месяцев после своего бегства, направляясь с одним художником в Бретань, она не отказала себе в удовольствии побывать проездом в родном городе. Ей хотелось повидать Фужер, где произошла развязка авантюры маркиза де Монторана, и посетить театр этих красочных военных действий, трагические эпизоды которых, еще мало изученные, были известны ей с самой юности. К тому же она жаждала показаться в Алансоне в столь блестящем сопровождении и до неузнаваемости преображенной. Она рассчитывала заодно обеспечить безбедное существование своей матери и послать под благовидным предлогом бедняге Атаназу некоторую сумму денег, ибо в наши дни деньги являются для гения тем же, чем в середине века были боевой конь и доспехи, добытые Ревеккой для Айвенго.

Целый месяц в городе делали самые нелепые предположения относительно замужества мадемуазель Кормон. Составились две партии — маловеров, которые отрицали возможность этого брака, и верующих, которые настаивали на ней. К концу второй недели маловеры получили ощутительный удар: дом дю Букье был продан за сорок тысяч франков г-ну де Труавилю, пожелавшему приобрести в Алансоне совсем, совсем скромное жилище, — потому что в будущем, после смерти княгини Шербеловой, ему предстояло переселиться в Париж; он рассчитывал спокойно дожидаться наследства, занимаясь восстановлением хозяйства на своих землях. Такой факт, как продажа дома, казался достаточно убедительным. Но маловеры не сдавались. Они утверждали, что женится или не женится дю Букье, а дельце само по себе было весьма выгодно: ему-то дом обошелся только в двадцать семь тысяч франков. Верующие были сражены таким решительным заявлением маловеров. Шенелю, нотариусу мадемуазель Кормон, говорили опять-таки маловеры, никто еще словом не обмолвился относительно брачного контракта. На двадцатый день верующие, непоколебимые в своем убеждении, одержали решительную победу над маловерами. Г-н Лепрессуар, нотариус либералов, пришел в дом к мадемуазель Кормон, и там был подписан брачный контракт. Это была первая из многочисленных жертв, которые мадемуазель Кормон впредь была вынуждена приносить своему супругу. Дю Букье питал глубокую ненависть к Шенелю; он приписывал его влиянию отказ, полученный им некогда от мадемуазель Арманды и, как он думал, повлекший за собой в свое время и отказ мадемуазель Кормон. Старый боец Директории ухитрился подъехать к достойной деве, считавшей, что она не умела понять прекрасную душу поставщика, и пожелавшей загладить свою вину перед ним: во имя любви она пожертвовала своим нотариусом! Тем не менее она ознакомила его с контрактом, и Шенель, человек, достойный быть героем Плутарха, в письменной форме оградил интересы мадемуазель Кормон. Именно это обстоятельство и послужило единственной причиной, оттягивающей свадьбу. Мадемуазель Кормон получила много анонимных писем. К своему величайшему изумлению, она узнала, что Сюзанна девственной непорочностью могла бы поспорить с нею самой и что соблазнитель в парике уже неспособен играть роль в подобных похождениях. Мадемуазель Кормон пренебрежительно отнеслась к анонимным письмам; но она написала Сюзанне, чтобы выяснить положение дел в связи с Обществом вспомоществования матерям. Сюзанна, до которой, разумеется, дошли слухи о предстоящей женитьбе дю Букье, призналась в своей хитрости и отослала Обществу тысячу франков, оказав таким образом весьма плохую услугу бывшему поставщику. Мадемуазель Кормон созвала чрезвычайное совещание общества, постановившее впредь оказывать помощь не в виду предстоящей беды, но только по ее свершении. Несмотря на различные подвохи, ставшие, на потеху всего города, предметом сплетен, которые со смаком пересказывались, оглашение было сделано в церкви и в мэрии. Атаназу пришлось подготовить брачное свидетельство. Во имя общественного целомудрия и всеобщего спокойствия невеста уехала в Пребоде, где дю Букье навещал ее по два раза в день: утром — с пышными уродливыми букетами в обеих руках — и под вечер, к обеду. Наконец в один пасмурный, дождливый июньский полдень в алансонской приходской церкви, на глазах у всего города состоялось бракосочетание мадемуазель Кормон и, *с позволения сказать, господина* дю Букье, как выражались маловеры. Из дома в мэрию и из мэрии в церковь новобрачные ехали в роскошной для Алансона коляске, которую дю Букье выписал тайком из Парижа. Весь город рассматривал утрату старой одноколки как своего рода общественное бедствие. Шорник с улицы Порт де Сеэз громко выражал свое негодование, ибо терял пятьдесят франков ежегодного дохода, которые ему приносила починка одноколки. Алансон пришел в ужас, видя, как благодаря дому Кормон в городе водворяется роскошь. Каждый опасался, что вздорожают съестные припасы, непомерно повысится квартирная плата и нахлынут предметы парижской меблировки. Иных настолько терзало любопытство, что они совали Жаклену несколько монеток в десять су, только бы поближе рассмотреть эту коляску, посягавшую на экономику края. Пара лошадей, купленных в Нормандии, тоже немало напугала алансонцев.

— Кто же станет приезжать за лошадьми нашего завода, раз мы сами покупаем лошадей на стороне! — говорили в кружке дю Ронсере.

Хотя на первый взгляд вывод этот казался глупым, но в нем заключалась глубокая мысль относительно возможности для края загребать чужие деньги. Провинция видит национальное богатство не столько в активно обращающихся капиталах, сколько в бесплодном накоплении. В довершение всего сбылось убийственное пророчество старой девы. Пенелопа пала от плеврита, которым она заболела за полтора месяца до свадьбы хозяйки; ничто не могло ее спасти. Г-жа Грансон, Мариетта, г-жа дю Кудре, г-жа дю Ронсере — словом, весь город подметил, что мадам дю Букье ступила в церковь *левой ногой*; примета тем более ужасная, что в те времена слово *левый* уже начинало приобретать политический смысл. Священник, которому надлежало произнести проповедь, нечаянно открыл свой молитвенник на заупокойном псалме. Таким образом, этот брачный союз сопровождался предзнаменованиями столь мрачными, столь грозными, столь зловещими, что никто не предрекал ему ничего доброго. Все шло из рук вон плохо. О свадебном пире нечего было и думать, так как новобрачные уехали в Пребоде. Итак, говорили все друг другу, парижским обычаям предстояло одержать верх над провинциальными. Вечером весь Алансон судил и рядил обо всем этом вздоре; те, кто рассчитывал на лукулловское пиршество, обязательное для провинциальных свадеб и принимаемое обществом как непременная дань, почти поголовно возмущались. А свадьба Жозетты и Жаклена прошла весело; только эта парочка и опровергла все мрачные предсказания.

Дю Букье пожелал потратить всю сумму, вырученную от продажи дома, на то, чтобы отремонтировать и переделать по-модному старинный особняк Кормон. С этой целью он решил прожить полгода в Пребоде и перевез туда дядюшку де Спонда. Новость эта ужаснула весь город, каждый был охвачен предчувствием, что дю Букье задумал увлечь край на пагубный путь комфорта. Страх еще усилился, когда в одно прекрасное утро горожане увидели, как дю Букье, направляясь из Пребоде в Валь-Нобль, чтобы наблюдать за работами по дому, восседает, вместе с облаченным в ливрею Ренэ, в тильбюри, в который запряжена недавно купленная лошадь. Начало своей хозяйской деятельности дю Букье ознаменовал тем, что приобрел на женины накопления ренту государственного казначейства, которая шла по шестьдесят семь франков пятьдесят сантимов. Постоянно играя на повышение, он за год сколотил себе личный капитал, без малого равный капиталу его супруги. Однако все грозные предзнаменования, все катастрофические новшества потускнели перед одним происшествием, стоявшим в самой тесной связи с этим браком и придавшим ему нечто еще более роковое.

В вечер свадьбы Атаназ с матерью сидел после обеда за десертом в гостиной, перед камельком, где служанка, принеся охапку валежника, разожгла огонек, именуемый в здешних местах *угостительным*.

— Ну что ж! Пойдем сегодня вечером к председателю дю Ронсере, раз уж мы остались без мадемуазель Кормон, — сказала г-жа Грансон. — Господи! Я никогда не привыкну называть ее госпожой дю Букье, у меня язык не поворачивается произнести это имя.

Атаназ печально и принужденно взглянул на мать; у него не было сил ей улыбнуться, но ему хотелось выразить как бы признательность за эту наивную попытку если не исцелить, то смягчить его боль.

— Мама, — произнес он, и голос его прозвучал так нежно, так по-детски, как по-детски прозвучало это давно забытое обращение. — Милая мама, побудем еще дома, здесь так хорошо у огня!

Мать, не поняв умом, вняла сердцем этой последней просьбе убитого горем сына.

— Хорошо, дитя мое, останемся, — сказала она, — мне, конечно, приятнее провести вечер в разговорах с тобой о твоих планах, чем за карточным столом, где я могу проиграться.

— Ты сегодня такая красивая, я бы все смотрел на тебя. К тому же и мысли мои нынче под стать этой невзрачной маленькой гостиной, где мы столько выстрадали.

— И где нам еще предстоит немало страдать, бедный мой Атаназ, пока ты добьешься признания. Я нужды не боюсь; но, мое сокровище, каково мне видеть, что безрадостно проходит твоя прекрасная молодость! Каково сознавать, что вся твоя жизнь — один только труд! Для матери — это нож в сердце; от такой муки я долго не могу заснуть по вечерам, с нею по утрам я пробуждаюсь. Боже мой, боже! Чем я прогневила тебя? За что ты меня наказываешь?

Она пересела с кресла на маленький стульчик и прижалась к Атаназу, положив голову к нему на грудь. В неподдельном материнском чувстве всегда есть прелесть влюбленности. Атаназ целовал глаза, лоб, седые волосы матери, свято желая прилепиться душою ко всему, чего касались его губы.

— Я никогда ничего не достигну, — сказал он, стараясь скрыть от матери роковое решение, которое зрело у него в голове.

— Вот тебе на! Ты, никак, падаешь духом? Не ты ли сам говорил, что мысль всемогуща? Лютеру понадобилось только десять пузырьков чернил, десять стоп бумаги и твердая воля, чтобы потрясти всю Европу. Что ж! Ты прославишься и станешь творить добро теми же средствами, какими он творил зло. Не твои ли это слова? Смотри, как внимательно я тебя слушаю и понимаю лучше, чем ты думаешь, ибо я все еще ношу тебя под сердцем — малейшая твоя мысль отдается во мне, как некогда легчайшее твое движение.

— Видишь ли, мама, я здесь ничего не добьюсь; и я не хочу, чтобы ты была свидетельницей моих терзаний, усилий, тревог. Родная, позволь мне покинуть Алансон; лучше мне страдать вдали от тебя.

— А я хочу всегда быть подле тебя, — с достоинством возразила мать. — Как тебе страдать вдали от матери, от твоей маменьки, которая, если понадобится, станет твоей служанкой, а захочешь — исчезнет, чтобы тебе не мешать, но даже тогда не скажет, что ты загордился! Нет, нет, Атаназ, мы никогда не расстанемся.

Атаназ обнял мать так страстно, как умирающий обнял бы самое жизнь.

— И тем не менее я так хочу, — продолжал он. — Иначе ты меня потеряешь... Болеть душой вдвойне, за тебя и за себя, свыше моих сил. Ведь ты же хочешь, чтобы я жил, не правда ли?

Госпожа Грансон растерянно посмотрела на сына.

— Так вот что у тебя на уме! Мне не раз об этом говорили. Значит, ты уезжаешь?

— Да.

— Ты не уедешь, не сказав мне всего, не предупредив меня. Тебе же нужны вещи, деньги. У меня зашито в нижней юбке несколько золотых, ты их возьмешь.

Атаназ разрыдался.

— Вот все, что я хотел тебе сказать, — снова заговорил он. — Теперь я провожу тебя к председателю. Пойдем...

Мать и сын вышли. Атаназ расстался с матерью на пороге дома, где она собиралась скоротать вечер. Долго он смотрел на свет, пробивавшийся сквозь щели ставней; прижавшись к окну, он слушал, и его охватила какая-то исступленная радость, когда четверть часа спустя до него донесся голос матери, объявлявший: — *Большой шлем в червях!*

— Бедная матушка, я обманул тебя! — воскликнул он, выходя на берег Сарты.

Он подошел к красавцу тополю, под которым столько передумал за последние полтора месяца и где устроил себе сиденье из двух больших камней. Он любовался красотой природы, озаренной в этот час луной; за несколько часов пред ним снова пронеслось его славное будущее: он прошел по городам, повергаемым в волнение одним звуком его имени; он услышал приветственный гул толпы, он вдохнул фимиам празднеств, он поклонился призраку своей жизни; он предался победному ликованию, он воздвиг себе памятник, он призвал свои несбыточные мечты, чтобы сказать им «прости» на последнем олимпийском пиршестве. Подобное волшебство могло длиться лишь краткое время, и вот оно развеялось навсегда. В этот предсмертный час Атаназ обнял прекрасное дерево, к которому привязался, как к другу; затем положил в карманы сюртука два камня и застегнулся на все пуговицы. Из дому он преднамеренно вышел без шляпы. Он разыскал то глубокое место, которое давно наметил; без колебания скользнул он в воду, стараясь, чтоб не было никакого шума, — и шума почти не было. Когда, примерно в половине десятого, г-жа Грансон вернулась домой, служанка ничего не сказала ей об Атаназе, она подала ей письмо; г-жа Грансон развернула его и прочла следующие скупые слова: *Добрая моя маменька, я отправился в путь, не сердись на меня.*

— Нечего сказать, славно он меня провел! — воскликнула она. — Но белье! Но деньги! Ну что ж, он мне напишет, и я тогда поеду к нему. Детишки всегда воображают, что могут перехитрить отца с матерью! — И она спокойно улеглась спать.

За день до того, утром, как и ожидали рыбаки, Сарта разлилась. В эту пору мутные воды гонят множество угрей из их родных ручьев. Вот почему на том месте, куда бросился в воду горемыка Атаназ, уверенный, что его никогда не найдут, оказался раскинутый невод. Около шести часов утра рыбак вытащил труп юного самоубийцы. Две-три приятельницы, какие были у несчастной вдовы, очень осторожно подготовили ее к прибытию страшных останков. Можно себе представить, как весть об этом самоубийстве прогремела на весь Алансон. Еще накануне у талантливого юноши не было ни одного покровителя; на следующий день после его смерти раздавалось на тысячи голосов: «Кто-кто, а я бы, конечно, ему помог!» Так удобно выставить себя благодетелем без всяких затрат! Шевалье де Валуа пролил свет на это самоубийство. Из чувства мести этот дворянин рассказал о чистой, неподдельной, прекрасной любви Атаназа к мадемуазель Кормон. Г-жа Грансон, которую надоумил шевалье, вспомнила множество мельчайших обстоятельств и подтвердила рассказ г-на де Валуа. История становилась трогательной, некоторые женщины плакали. Горе г-жи Грансон было затаенным, немым, мало кому понятным. Материнская скорбь по умершим детям бывает двух видов. Бывает так, что люди понимают всю глубину этой печали: утрата сына, всеми уважаемого, всеми любимого, молодого или красивого, на пути к успеху и богатству или уже прославившегося, вызывает всеобщее сочувствие; свет разделяет это горе и, придавая ему более широкий характер, смягчает его. Но есть другая скорбь, скорбь матери, которая одна только знает, чем было ее дитя, которая одна ловила его улыбки, которая одна подметила сокровища слишком рано скошенной жизни; при таком горе прячут от чужих глаз свой траурный креп, черней которого нет ничего. Горе это не поддается описанию; к счастью, немногие женщины знают, какую струну сердца оно обрывает навек. Еще до того, как г-жа дю Букье вернулась в город, жена председателя дю Ронсере, одна из ее закадычных приятельниц, поспешила бросить этот труп на розы ее радости и сообщить ей, от какой любви она отказалась; она тихонько влила не одну сотню капель полынной горечи в мед первого месяца ее брачной жизни. Возвращаясь в Алансон, г-жа дю Букье случайно столкнулась на углу улицы Валь-Нобль с г-жой Грансон... Взгляд умиравшей от горя матери поразил старую деву в самое сердце. В нем было проклятие, тысячу раз повторенное, — тысяча искр в одном луче. Взгляд этот ужаснул г-жу дю Букье, он предвещал ей, призывал на нее несчастье. В самый день катастрофы, вечером, г-жа Грансон, одна из тех, кто был наиболее нетерпимо настроен против городского священника, всегда ратовавшая за викария церкви св. Леонарда, содрогнулась при мысли о непреклонности католического учения, исповедуемого ее же партией. После того как она своими руками одела сына в саван, вспоминая о богоматери, г-жа Грансон, изнывая душой в мучительной тревоге, отправилась к присягнувшему священнику. Она застала этого скромного человека за разборкой пеньки и льна, которые он отдавал прясть всем нуждающимся женщинам и девушкам в городе, чтобы у них никогда не было недостатка в работе, — разумная благотворительность, которая спасла от нищеты не одно семейство, неспособное побираться. Кюре тотчас оставил свою пеньку и поспешил проводить г-жу Грансон в гостиную, где ожидавший его ужин своей скудостью напомнил измученной женщине ее собственный стол.

— Господин аббат, — сказала она, — я пришла вас умолять... — Не в силах окончить речь, она залилась слезами.

— Знаю, чтó привело вас ко мне, — ответил святой человек. — Я полагаюсь на вас, сударыня, и на вашу родственницу госпожу дю Букье, что в случае чего вы постараетесь умилостивить в Сеэзе епископа. Да, я помолюсь за ваше несчастное дитя; я отслужу по нем панихиду; но постараемся избежать огласки, не дадим повода недоброжелателям сбежаться в церковь со всего города... я один, без причта, ночью...

— Да, да, как вам угодно, только бы он лежал в освященной земле! — проговорила бедная мать и, взяв руку священника, поцеловала ее.

И вот, около полуночи четверо юношей, самых любимых товарищей Атаназа, крадучись перенесли гроб в приходскую церковь. Там уже находилось несколько подруг г-жи Грансон — группа женщин в черном, с опущенными вуалями, да еще семь-восемь юношей, которым поверял свои тайны этот безвременно погибший талант. Четыре факела освещали гроб, покрытый траурным крепом. Священник, которому прислуживал мальчик-клирошанин, на чью скромность можно было положиться, прочел заупокойные молитвы. Затем самоубийцу потихоньку отнесли в отдаленный угол кладбища, где крест из потемневшего от времени дерева, без надписи, отметил для матери его могилу. Атаназ жил и умер во мраке. Никто ни одним словом не выдал священника, епископ хранил молчание. Благочестием матери искупилось нечестие сына.

Прошло несколько месяцев, и однажды вечером бедная, обезумевшая от горя женщина, движимая, как все обездоленные, безотчетным желанием жадно прильнуть устами к своей горькой чаше, вздумала посмотреть на место гибели своего сына. Кто знает, может быть, инстинкт подсказывал ей, что под тополем она угадает его предсмертные мысли; а может быть, она хотела видеть то, на что глядел в последний раз ее сын. Для одних матерей такое место — плаха, а для других — святыня. Терпеливые анатомы человеческой природы никогда не устанут твердить об истинах, о которые должны разбиться все теории, законы и философские системы. Скажем еще и еще раз: стремление мерить людские чувства единой меркой — нелепость; у каждого человека чувства сочетаются с элементами, свойственными только ему, и принимают его отпечаток.

Г-жа Грансон еще издали увидела женщину, которая, подойдя к роковому месту, воскликнула: *«Так вот где это было!»* Только одно существо оплакивало Атаназа, как его оплакивала мать. Этим существом была Сюзанна. Приехав утром в «Гостиницу Мавра», она узнала о несчастье. Если бы бедняга Атаназ был жив, она, вероятно, сделала бы то, о чем мечтают люди благородные, но неимущие и что не приходит в голову богачам: она послала бы ему несколько тысяч франков, написав: *«Деньги, данные вашим отцом взаймы своему другу, который возвращает их вам».* Эта ангельская хитрость была задумана Сюзанной во время путешествия.

Куртизанка увидела г-жу Грансон и поспешила уйти, промолвив: «Я его любила».

Сюзанна, верная себе, не уехала из Алансона, пока не превратила в водяные лилии флердоранж, венчавший новобрачную: она первая объявила, что супруга г-на дю Букье навсегда останется девицей. Одним язвительным словом она отомстила и за Атаназа и за дорогого ей шевалье де Валуа.

Алансон стал свидетелем еще одного самоубийства, но медленного и вызывавшего жалость совсем иного рода, потому что Атаназ был сразу забыт обществом, которое желает и обязано поскорее забывать покойников. Бедный шевалье де Валуа умирал заживо, убивая себя ежедневно четырнадцать лет сряду. Спустя три месяца после женитьбы дю Букье свет не без удивления заметил, что сорочка шевалье пожелтела, а волосы причесаны кое-как. Взлохмаченный шевалье де Валуа не был больше шевалье де Валуа! Несколько зубов, белых, как слоновая кость, покинуло свой боевой пост, и ни один наблюдатель человеческого сердца не мог бы сказать, к какому корпусу они принадлежали, были ли они из чужеземного или из туземного легиона, растительного или животного происхождения, время ли отняло их у шевалье, или он сам позабыл их в ящике туалетного стола. Галстук, равнодушный к щегольству, закрутился жгутом. Серьги загрязнились и потускнели. Морщины на лице шевалье углубились, почернели, а кожа стала походить на пергамент. Запущенные ногти нет-нет да окаймлялись черной полоской. Жилет был испещрен следами табачных понюшек, напоминавшими осенние листья. Вата в ушах теперь менялась очень редко. Уныние омрачало чело, бросало желтоватый отсвет на рытвины морщин. Словом, прекрасная постройка, столь искусно поддерживаемая, дала трещины и выявила этим всю власть духа над плотью: ибо наш белокурый шевалье, наш герой-любовник погиб, как только рухнула его надежда. До того нос шевалье выставлял себя в самом изящном виде; никогда он не ронял ни черных влажных крупинок, ни янтарных капель; но теперь этот нос, перепачканный табаком, постоянно выпирающим из ноздрей, обесчещенный мутной жидкостью, стекавшей по естественному желобку над верхней губой, — этот нос, не желавший больше мило выглядеть, обнаруживал, чего стоило содержать его в порядке, он выдавал ту огромную заботу, какая прежде вкладывалась шевалье в уход за собственной персоной и своим упорством свидетельствовала о всем величии и настойчивости брачных видов шевалье на мадемуазель Кормон. Г-н де Валуа был окончательно уничтожен каламбуром дю Кудре, который, впрочем, стараниями шевалье получил за это отставку по службе. То была первая месть, осуществленная благодушным шевалье; тем не менее каламбур был убийственным и на сто шагов оставлял за собою все прежние каламбуры чиновника опекунского совета: господин дю Кудре, наблюдая эту носовую революцию, назвал положение шевалье *сносным*. В конце концов и анекдоты шевалье последовали примеру его зубов; затем все реже стали меткие словечки; только аппетит не ослабевал — в этом крушении всех надежд уцелел лишь желудок; если дворянин вяло готовил свои понюшки, зато ел он с прежней жадностью. Вам станет ясно, к какому оскудению мысли привела эта катастрофа, когда вы узнаете, что теперь г-н де Валуа даже не так часто, как прежде, беседовал с княгиней Горицей. Как-то раз, когда шевалье пришел к мадемуазель Арманде, одна из его икр оказалась спереди берцовой кости. Клянусь, такое банкротство элегантности было чудовищно и поразило весь Алансон. Человек бодрый, как юноша, превратился в старца, муж, полный сил, в результате душевного упадка перешагнул из пятидесяти лет прямо в девяносто, он испугал общество. А кроме того, он выдал свою тайну: стало ясно, что он выжидал, что он подстерегал мадемуазель Кормон; терпеливый охотник прицеливался целых десять лет — и упустил добычу. Наконец-то немощная Республика взяла верх над доблестной аристократией, и это в самый разгар Реставрации! Форма восторжествовала над содержанием, дух был побежден материей, дипломатия — мятежом. И еще беда! Одна из гризеток, чем-то обиженная, разоблачила утренние забавы шевалье, и он прослыл развратником. Либералы отнесли на его счет всех подкидышей, прежде приписываемых дю Букье, но Сен-Жерменское предместье Алансона очень гордо встретило эту весть; оно смеялось и говорило: — *Ах, этот добрейший шевалье, что ж ему было делать?* Оно пожалело шевалье, приняло его в свое лоно, воскресило его улыбки, а над головой дю Букье собралась грозная ненависть. Одиннадцать человек оставили лагерь дю Букье—Кормон и перешли к д'Эгриньонам.

В результате этого брака в Алансоне прежде всего резко разграничились партии. Дом д'Эгриньонов представлял здесь высшую аристократию, так как вернувшиеся на родину Труавили примкнули к нему. Дом Кормон, при ловком содействии дю Букье, стал выразителем тех пагубных взглядов, которые, не будучи ни истинно либеральными, ни положительно роялистскими, породили выступление двухсот двадцати одного депутата в тот день, когда определилась борьба между самой священной и самой великой, единственно подлинной *королевской властью* и самой фальшивой, самой изменчивой, самой деспотической, так называемой *парламентской*, которую осуществляют избирательные собрания. Салон дю Ронсере, тайно связанный с салоном Кормон, стал открыто либеральным.

По возвращении из Пребоде аббат де Спонд испытывал непрерывные горести, которые он глубоко таил в душе, ничего не говоря о них племяннице; он излил свою душу одной лишь мадемуазель Арманде и признался ей, что предпочел бы, если уж на то пошло, шевалье де Валуа этому, с позволения сказать, господину дю Букье. Никогда милейший г-н де Валуа не разрешил бы себе бестактно идти наперекор бедному старику, которому осталось жить считанные дни. Дю Букье все в доме уничтожил. Скупые слезы навернулись на потухшие глаза аббата, когда он рассказывал:

— Мадемуазель, у меня нет больше моей тенистой аллеи, которая пятьдесят лет служила мне местом ежедневных прогулок. Мои любимые липы спилены. В час моей смерти Республика еще раз является мне в образе грозного разрушителя домашнего очага!

— И все же будьте снисходительны к племяннице, — вмешался в разговор шевалье де Валуа, — республиканские идеи — первая ошибка молодости, которая ищет свободы, а находит самый страшный деспотизм, деспотизм бессильной черни. Ваша бедная племянница не по вине наказана.

— Что будет со мной в этом доме, где на стенах намалеваны голые плясуньи? Как я обрету мои липы, под сенью которых я читал молитвенник?

Подобно Канту, потерявшему нить мыслей, когда срубили сосну, на которую он привык смотреть во время размышлений, бедный аббат не мог вдохновиться молитвами, проходя по аллеям, лишенным тени, — дю Букье приказал разбить английский сад!

— Так лучше, — говорила г-жа дю Букье, вопреки собственному убеждению, покорствуя аббату Кутюрье, который предписывал ей угождать супругу.

Старый дом, заново отделанный, лишился своего прежнего блеска, своего патриархального добродушного вида. Подобно тому, как шевалье де Валуа, став небрежным, потерял самого себя, буржуазное величие салона Кормон исчезло, как только потолок окрасили в белое с золотом, обили стены голубым шелком и уставили турецкими диванами красного дерева. В столовой, убранной в новомодном стиле, кушанья, казалось, остывали быстрее, и ели там не так, как едали, бывало, прежде. Г-н дю Кудре уверял, что каламбуры застревают у него в горле при одном взгляде на все намалеванные по стенам физиономии, которые таращат на него глаза. Снаружи дом еще отдавал провинцией, но внутри в нем уже обнаруживал себя поставщик времен Директории. На всем лежал отпечаток дурного вкуса биржевого маклера: колонны, разделанные под мрамор, зеркальные двери, греческие профили, лепные карнизы, смешение всех стилей, неуместная пышность. В Алансоне не менее двух недель судачили по поводу такой дотоле неслыханной роскоши; несколько месяцев спустя ею стали гордиться, и не один богатый фабрикант, обновив обстановку, устроил у себя нарядную гостиную. В городе стала появляться модная мебель; там можно было увидеть даже «астральные» лампы! Аббат де Спонд одним из первых постиг тайные печали, которые этот брак не мог не внести в личную жизнь его нежно любимой племянницы. Благородная простота — особенность, некогда отличавшая их совместное существование, исчезла в первую же зиму, когда дю Букье задавал по два бала в месяц. Звуки скрипок и нечестивая музыка светских празднеств в этой священной обители! Аббат, коленопреклоненный, молился все время, пока длилось веселье! К тому же мало-помалу извратилась и политическая система, царившая в этом степенном салоне. Главный викарий разгадал дю Букье, он содрогнулся от его повелительного тона; не раз он замечал слезы на глазах племянницы, когда муж, отстранив ее от управления имуществом, оставил в ее руках лишь белье, стол и все прочее, что составляет удел женщины. Роза не была больше в доме хозяйкой: Жаклен, ограниченный теперь лишь кучерскими обязанностями, Ренэ, превращенный в грума, и повар из Парижа (Мариетта была разжалована в судомойки) подчинялись исключительно барину. В распоряжении г-жи дю Букье осталась одна Жозетта. А знаете ли вы, чего стоит отказаться от сладостной привычки властвовать? Торжество своей воли — одно из опьяняющих удовольствий в жизни великих людей, а для людей ограниченных в этом вся жизнь. Надо побывать в министрах и попасть в опалу, чтобы понять жгучую боль, испытанную г-жой дю Букье, когда она была низведена до состояния полной приниженности. Как часто она выезжала из дому, когда ей не хотелось, встречалась с людьми, которые были ей не по душе! Милые сердцу денежки уже больше не проходили через ее руки, и она, привыкшая свободно тратить сколько ей заблагорассудится, теперь была лишена этой возможности. Не вызывает ли всякая навязанная граница желание во что бы то ни стало переступить ее? Не причиняет ли все, что нарушает свободу воли, самые глубокие муки? Но это были пока только цветочки. Каждая уступка, сделанная бедняжкою супружеской власти, в те времена была продиктована любовью к мужу. На первых порах дю Букье прекрасно относился к жене; он держался превосходно, при всяком новом покушении на ее права он приводил ей веские доводы. В комнате, так долго пустовавшей, по вечерам у камина раздавались голоса супружеской четы. Вот почему первые два года своей замужней жизни г-жа дю Букье казалась очень довольной. У нее был тот особый, непринужденный и лукавый вид, каким отличается большинство молодых женщин, вышедших замуж по любви. Кровь больше не донимала ее. Новый облик г-жи дю Букье сбил с толку насмешников, опроверг слухи, ходившие насчет дю Букье, и привел в замешательство наблюдателей человеческого сердца. Роза-Мария-Виктория так боялась прогневить супруга, чем-нибудь досадить ему, лишиться его привязанности и его общества, что готова была пожертвовать ему всем, даже дядюшкой. Пустячные, глупые радости г-жи дю Букье обманули бедного аббата де Спонда, который легче переносил свои собственные страдания при мысли, что его племянница счастлива. Вначале весь Алансон думал то же, что и аббат. Но существовал один человек, которого провести было труднее, чем целый город! Шевалье де Валуа, укрывшись на священных вершинах высшей аристократии, проводил свою жизнь у д'Эгриньонов; он прислушивался к злословию и болтовне, день и ночь думая об одном — только бы не умереть, не отомстив. Он уже сразил каламбуриста, а теперь целился в самое сердце дю Букье. Бедный аббат уже постиг всю подлость первого и последнего возлюбленного своей племянницы, он содрогнулся, разгадав вероломную натуру ее мужа и его коварные махинации. Дю Букье обуздывал себя, памятуя о дядюшкином наследстве, совсем не хотел огорчать аббата и, однако, нанес ему смертельный удар, который уложил старика в гроб. Если вы согласны объяснить слово *нетерпимость* выражением *непоколебимость принципов*, если вы не находите нужным осудить бывшего викария-католика за тот стоицизм, которым Вальтер Скотт заставляет вас восхищаться в пуританине, отце Дженни Динс[[37]](#footnote-37), если принцип *potius mori quam foedari* [[38]](#footnote-38), которому вы удивляетесь в республиканском мировоззрении, вы согласны увидеть и в римско-католической церкви, то вы поймете скорбь, охватившую аббата де Спонда, когда в салоне мужа своей племянницы он встретил священника, присягнувшего конституции, которого он считал изменником, раскольником, еретиком, врагом церкви, клятвопреступником. Дю Букье, втайне честолюбиво стремившийся к господству над всем округом, захотел, в качестве первого залога власти, добиться возможности примирить священника церкви св. Леонарда с приходским кюре, и он достиг своей цели. Его жена полагала, что, принимая у себя аббата Франсуа, она способствует делу мира, а по мнению непоколебимого аббата Спонда, это было предательство. Г-н де Спонд увидел, что он одинок в своих убеждениях. К дю Букье приехал епископ и казался очень довольным, что вражде положен конец. Добродетели аббата Франсуа всех покорили, исключая ярого католика, готового воскликнуть вместе с Корнелем: «Во имя господа я доблесть ненавижу!»

Аббат умер, когда в епархии угасло правоверие.

В 1819 году благодаря наследству, оставленному аббатом де Спондом, доходы с земель г-жи дю Букье возросли до двадцати пяти тысяч франков, не считая ни Пребоде, ни дома на улице дю Валь-Нобль. Как раз к этому времени дю Букье вернул жене ее накопления, которые она ему доверила; он заставил употребить эти деньги на покупку земли, смежной с Пребоде, и превратил, таким образом, это поместье в одно из самых значительных в департаменте, потому что к Пребоде прилегали и владения аббата де Спонда. Никто не знал размеров личного капитала дю Букье, он отдал его в оборот Келлерам в Париже, куда ездил четыре раза в году. Так или иначе, в ту пору он уже слыл самым богатым человеком в департаменте Орн. Этот пройдоха, бессменный кандидат либералов, которому постоянно недоставало лишь семи-восьми голосов во всех выборных баталиях, разыгрывавшихся при Реставрации, притворно отрекался от либералов, желая быть избранным в качестве министерского роялиста; но, вопреки заступничеству конгрегации и магистратуры, правящие круги по-прежнему относились к нему с непреодолимым отвращением; этот злобный республиканец, распаленный честолюбием, задумал бороться с роялизмом и аристократией в краю, где они в ту пору одержали верх. Искусно разыгранная набожность позволила дю Букье опереться на церковников: он сопровождал жену к обедне, жертвовал на городские монастыри, оказывал денежную помощь конгрегации Сердца Иисусова, высказывался в пользу духовенства во всех случаях, когда оно выступало против города, департамента или государства. Пользуясь тайной поддержкой либералов и покровительством церкви, он, оставаясь конституционным роялистом, постоянно шел в ногу с аристократией департамента, чтобы погубить ее, — и погубил ее. Не упуская ни одной оплошности дворянской верхушки и правительства, он, опираясь на буржуазию, осуществлял в городе улучшения, вдохновителями и руководителями которых надлежало быть дворянам, пэрам и министерству, меж тем как те, наоборот, тормозили всякое улучшение из-за глупого соперничества, свойственного властям во Франции. Конституционные взгляды дю Букье вовлекли его в борьбу с аббатом Франсуа и в вопросах постройки театра, городского благоустройства, которое он предугадывал, выдвигал через либеральную партию и поддерживал во имя блага края в самый разгар дебатов. Дю Букье способствовал развитию промышленности в департаменте. Он ускорил расцвет этой провинции из ненависти к аристократическому предместью, расположенному по Бретонской дороге. Так подготовлял он месть владетелям замков, и особенно д'Эгриньонам, которых был готов в любой день переколоть отравленным кинжалом. Он дал средства на восстановление производства алансонских кружев; он оживил торговлю полотном — в городе открылась прядильня. Участвуя, таким образом, во всех практических начинаниях, живо интересовавших население города, верша дела, о которых королевская власть и думать не думала, дю Букье не рисковал при этом ни на грош. С таким богатством, как у него, он мог спокойно ждать грядущих доходов со своих капиталов, тогда как люди предприимчивые, но стесненные в средствах, нередко вынуждены были отказываться от больших и выгодных дел в пользу своих счастливых преемников. Он взял на себя роль банкира. Этот Лафит в миниатюре давал под залог деньги на все новшества. Занимаясь общественно полезными делами, он очень неплохо обделывал и свои собственные дела: он являлся зачинателем страховых обществ, покровителем новых предприятий общественного транспорта; он внушал мысль о подаче петиций, чтобы добиться от властей постройки необходимых дорог и мостов. Местные правители, которых он опередил, таким образом, во всех начинаниях, усматривали в этом посягательство на свои права. Завязывалась бессмысленная борьба, ибо благо края требовало уступок со стороны префектуры. Дю Букье натравливал провинциальную знать против придворной и против пэрства. Наконец он подготовил устрашающее присоединение значительной части монархо-конституционной партии к борьбе против трона, которую поддерживали «Журналь де деба» и г-н де Шатобриан, — бездарная оппозиция, выросшая на основе гнусного корыстолюбия и ставшая одной из причин торжества буржуазии и газетчиков в 1830 году. Поэтому г-ну дю Букье, так же как и тем, кого он представлял, выпала радость взирать на погребение королевской власти, которую провинция провожала без всякого сожаления, охладев к ней по тысячам причин, указанных здесь далеко не полностью. Старый республиканец, не вылезавший из церкви, пятнадцать лет ломавший комедию, чтобы в конце концов упиться мщением, собственноручно, под рукоплескания толпы, сорвал белый флаг с мэрии. Ни один человек во Франции не бросал на новый трон, воздвигнутый в августе 1830 года, взгляда, более опьяненного ликующей местью. Он расценивал восшествие на престол младшей ветви как торжество революции. Для него победа трехцветного знамени была возрождением Горы, которая на этот раз должна была уничтожать дворян хотя и менее жестокими, но более надежными средствами, чем гильотина. Установление пэрства, которое уже не передавалось по наследству, организация национальной гвардии, укладывающей на одну походную кровать мелкого лавочника и маркиза; уничтожение майората, провозглашенное одним буржуазным стряпчим; лишение католической церкви ее главенствующей роли — все законодательные новшества августа 1830 года были для дю Букье лишь более искусным приложением принципов 1793 года. С 1830 года этот человек становится главноуправляющим окладными сборами, чего он добился благодаря своим связям с герцогом Орлеанским, отцом нового короля, Луи-Филиппа, и с господином де Фольмоном, бывшим управителем вдовствующей герцогини Орлеанской. Молва приписывает ему восемьдесят тысяч ливров ежегодного дохода. В глазах всего здешнего края господин дю Букье — человек добродетельный, почтенный, человек непоколебимых правил, неподкупный, обязательный. Благодаря ему Алансон, приобщившись к развитию промышленности, стал первым звеном, которое, возможно, свяжет в один прекрасный день Бретань с тем, что зовется современной цивилизацией. Жители Алансона, где в 1816 году не насчитывалось и двух частных экипажей, через десять лет смотрели на катившие по городским улицам коляски, кареты, ландо, кабриолеты и тильбюри как на самое обычное явление. Буржуазия и землевладельцы, вначале напуганные ростом цен, позднее увидели, что это прекрасно окупалось увеличением их доходов. С вещими словами председателя дю Ронсере: *Дю Букье — это сила!* — соглашался весь край. Но, к несчастью для его жены, под этими словами кроется страшное противоречие. Дю Букье — супруг ничем не походит на дю Букье — общественного и политического деятеля. Сей великий гражданин, вне дома такой свободомыслящий, благодушный, движимый любовью к своему краю, дома — деспот, абсолютно чуждый супружеских чувств. Глубоко вероломный, хитрый лицемер, этот Кромвель Валь-Нобля ведет себя в семейной жизни, как вел себя с аристократией, к которой ластился, чтобы погубить ее. Так же, как его друг Бернадот, он надел бархатную перчатку на свою железную руку. Жена не дала ему потомства. Так подтвердились слова Сюзанны и намеки шевалье де Валуа. Но либеральная буржуазия, буржуазия монархо-конституционная, мелкое дворянство, магистратура и, как выражается «Конститюсьонель», «поповская партия» обвиняли в этом г-жу дю Букье. Она, мол, была совсем старухой, когда дю Букье на ней женился! Впрочем, бедной женщине повезло — в ее возрасте так опасно родить! Когда г-жа дю Букье со слезами поверяла свои горькие разочарования г-же дю Кудре и г-же дю Ронсере, эти дамы говорили ей: «Да вы с ума сошли, дорогая, вы не знаете, чего хотите; для вас ребенок — смерть!» К тому же многие мужчины, как, например, г-н дю Кудре, связывавшие свои надежды с торжеством дю Букье, заставляли своих жен петь ему хвалу. Старую деву изводили жестокими тирадами:

— Вы счастливица, душенька, что вышли замуж за такого одаренного человека, вас не постигнет участь многих женщин, которым достались в мужья люди нерешительные, не умеющие руководить ни делами, ни детьми.

— Ваш муж, милочка, сделал вас владычицей здешних мест, с ним вы не пропадете! Он заправляет всем Алансоном.

— А мне бы хотелось, — отвечала бедная женщина, — чтобы он меньше беспокоился о чужих и чтобы...

— Вы чересчур требовательны, милая госпожа дю Букье, все женщины завидуют, что у вас такой муж.

Дурно понятая людьми, которые стали осуждать ее, эта христианка находила в домашней жизни широкое поле для применения своих добродетелей. Она проводила свои дни в слезах, но на людях ее лицо постоянно выражало невозмутимое спокойствие. Для такой богобоязненной души разве не была преступной мысль, от которой постоянно щемило ей сердце: я любила шевалье де Валуа, а вышла замуж за дю Букье! Любовь Атаназа — еще один укор совести — преследовала ее в сновидениях. Смерть дяди, обнаружившая все испытанные им горести, сделала жизнь ее еще более мучительной, ибо она не переставая думала о том, как должен был страдать старик, видя перемену политических и религиозных правил в доме Кормон. Часто горе поражает нас с быстротой молнии, как это произошло с г-жой Грансон; но у старой девы оно расплывалось подобно капле масла, которая не сходит с ткани, а только медленно впитывается в нее.

Шевалье де Валуа был злокозненным виновником несчастья г-жи дю Букье. Ему во что бы то ни стало хотелось вывести ее из заблуждения, ибо шевалье — большой знаток в любви — не хуже разгадал дю Букье женатого, чем дю Букье холостого. Но этого хитрого республиканца не легко было поймать врасплох: его салон, само собой разумеется, был закрыт для шевалье де Валуа, так же как для всех, кто в первые дни женитьбы Букье отступился от дома Кормон. К тому же, обладая огромным богатством, он не боялся стать смешным, он царил в Алансоне, а о жене думал не больше, чем Ричард III мог бы думать о павшей на его глазах лошади, с помощью которой он выиграл сражение. В угоду своему супругу г-жа дю Букье почти порвала знакомство с д'Эгриньонами, но, оставаясь одна во время отлучек мужа в Париж, она наносила визит мадемуазель Арманде. И вот однажды, через два года после свадьбы г-жи дю Букье, на панихиде по аббату де Спонду, мадемуазель Арманда подошла к ней при выходе из церкви св. Леонарда, где происходила служба. Великодушная девушка рассудила, что подобные обстоятельства обязывают ее сказать несколько утешительных слов плачущей наследнице. Разговаривая о дорогом покойнике, они прошли вместе от церкви св. Леонарда до улицы дю Кур, а оттуда — до запретного особняка, куда г-жа дю Букье и вошла незаметно для самой себя, увлеченная прелестью беседы с мадемуазель Армандой. Бедной безутешной женщине, возможно, доставляло горестное удовольствие говорить о дядюшке с той, которую он так любил. Кроме того, ей хотелось услышать соболезнования из уст старого маркиза, которого она не видала уже около трех лет. Была половина второго, она застала там явившегося к обеду шевалье де Валуа, который, рассыпаясь в приветствиях, взял ее за руки.

— Ну вот, дорогая, достойная госпожа дю Букье, — сказал он ей взволнованно, — мы потеряли нашего друга; это был святой человек. Мы разделяем вашу скорбь. Да, здесь эта утрата ощущается так же остро, как и в вашем доме... даже сильнее, — добавил он, намекая на дю Букье.

Когда каждый выразил г-же дю Букье свое соболезнование, сказав какую-нибудь фразу в похоронном стиле, шевалье весьма почтительно взял под руку г-жу дю Букье и отвел ее в амбразуру окна.

— Вы-то счастливы по крайней мере? — спросил он ее с отеческим участием.

— Да, — ответила она потупясь.

Услышав это *да*, мадам де Труавиль, дочь княгини Шербеловой, и старая маркиза де Катеран вместе с мадемуазель Армандой присоединились к шевалье. В ожидании обеда все вышли в сад, а г-жа дю Букье, отупев от горя, и не заметила маленького заговора, составленного против нее любопытствующими шевалье и дамами. «Она в наших руках, не узнаем ли мы разгадку?» — читалось во взглядах, которыми они обменялись.

— Для полноты счастья, — сказала мадемуазель Арманда, — вам нужно было бы обзавестись детьми, хорошеньким мальчиком вроде моего племянника...

На глазах г-жи дю Букье навернулись слезы.

— Я слышал, что вы всему виной. Говорят, вы боялись беременности? — сказал шевалье.

— Я?! — простодушно воскликнула она. — Да я бы заплатила за ребенка ста годами адских мучений!

Вокруг ловко поставленного вопроса завязался оживленный спор, направляемый с исключительным тактом виконтессой де Труавиль и старой маркизой де Катеран, которые так обошли бедную г-жу дю Букье, что она, сама того не подозревая, выдала свою супружескую тайну. Мадемуазель Арманда, взяв под руку шевалье, удалилась, предоставив трем женщинам толковать о браке. И тут у г-жи дю Букье открылись глаза на тысячи разочарований ее замужней жизни; а так как она по-прежнему оставалась *придурковатой*, то наперсницы забавлялись ее восхитительной наивностью. Хотя фиктивный брак мадемуазель Кормон сперва насмешил весь город, сразу узнавший эту новость, однако г-жа дю Букье получила признание и сочувствие всех женщин. Пока мадемуазель Кормон безуспешно гонялась за женихами, все насмехались над ней; но когда стало известно исключительное положение, в какое она попала благодаря строгости своих религиозных правил, все восхитились ею. *Бедная госпожа дю Букье* сменила *добрую мадемуазель Кормон*. Таким образом, шевалье удалось на некоторое время выставить дю Букье в отвратительном и смешном виде, но в конце концов смешное потеряло свою остроту, и, когда каждый посмеялся над дю Букье, злословие истощилось. К тому же многие полагали, что в пятидесятисемилетнем возрасте тайный республиканец имеет право и спасовать. Это происшествие до такой степени растравило ненависть, которую дю Букье питал к д'Эгриньонам, что он был совершенно беспощаден в час мести. Г-же дю Букье было приказано никогда не переступать порога их дома. В отместку за шутку, которую шевалье де Валуа с ним сыграл, дю Букье, только что создавший газету «Вестник департамента Орн», поместил в ней следующее объявление:

«Лицу, которое докажет существование господина де Помбретона до, во время и после эмиграции, будет вручен чек на тысячу франков ренты».

Несмотря на то, что, в сущности, брак г-жи дю Букье можно было считать мнимым, она находила в нем некоторые преимущества: все-таки куда приятнее было заботиться о самом замечательном человеке в городе, нежели жить одиноко. Уж лучше дю Букье, чем собаки, кошки и канарейки, которых обожают старые девы; он относился к жене более искренне и менее расчетливо, чем слуги, духовник и всякие охотники за наследствами. Позднее она узрела в своем супруге орудие божьего гнева, ибо признала неизмеримо грешными все свои помыслы о замужестве; она считала, что понесла заслуженную кару за горе, причиненное г-же Грансон, и за преждевременную кончину дядюшки. Послушная той религии, что предписывает лобызать карающую лозу, она превозносила своего мужа, она одобряла его перед всеми; но на исповеди или вечером на молитве она не раз плакала, прося бога простить отступничество мужа, который говорил обратное тому, что думал, который желал погибели аристократам и церкви — двум святыням дома Кормон. Хотя все ее чувства были поруганы и принесены в жертву, она, понуждаемая долгом радеть о благополучии супруга, оберегала его ото всего, что могло бы ему повредить, и была привязана к нему непостижимой любовью, вероятно, порожденной привычкой, так что вся ее жизнь была сплошным противоречием. Она вышла замуж за человека, чей образ действий и мыслей был ей ненавистен, но о котором она должна была заботиться со всей положенной нежностью. Она чувствовала себя на седьмом небе каждый раз, когда дю Букье лакомился ее вареньем или находил обед вкусным; она следила, чтобы исполнялись его малейшие прихоти. Если он оставлял на столе бандероль, сорванную с газеты, г-жа дю Букье не выбрасывала ее и говорила слуге: «Оставьте, Ренэ, барин не зря положил ее здесь». Уезжал он — она хлопотала о его плаще и белье; в своих заботах о его материальном благополучии она была до мелочности предусмотрительна. Если он отправлялся в Пребоде, она уже накануне все поглядывала на барометр, чтобы узнать, благоприятна ли будет погода. Она засматривала ему в глаза, чтобы узнать, чего ему хочется, подобно собаке, которая и во сне видит и слышит своего хозяина. Когда же случалось, что толстяк дю Букье, покоренный этой любовью, по чувству долга обнимал супругу за талию и, целуя в лоб, приговаривал: «Славная ты женушка!» — слезы радости выступали на глазах бедного создания. По всей вероятности, дю Букье считал своей обязанностью подобные знаки благосклонности, доставлявшие ему благоговение Розы-Марии-Виктории, ибо даже католическая добродетель не принуждает до такой степени скрывать свои взгляды, как приходилось это делать г-же дю Букье. Однако часто язык отнимался у этой святой женщины, когда она слышала у себя в доме злобные речи людей, маскировавшихся под монархистов-конституционалистов. Она трепетала, предвидя гибель церкви, от времени до времени она отваживалась вставить какое-нибудь глупое слово или замечание, которое дю Букье пресекал одним взглядом. От такой жизни, раздираемой противоречиями, г-жа дю Букье дошла в конце концов до полной одури и решила, что проще и достойнее запрятать подальше свои мнения и ничем их не проявлять, ограничиваясь бессловесным прозябанием. Тогда у нее появилась рабская покорность, она считала, что сам бог велит сносить то приниженное состояние, в какое муж поверг ее. Она исполняла волю супруга неукоснительно и без малейшего ропота. С той поры эта робкая овца шла по пути, указанному ей пастырем; она не покидала лона церкви и стала строжайшим образом выполнять все церковные обряды, не помышляя ни о сатане, ни о соблазнах его, ни о деяниях его. Итак, она представляла собой сочетание чистейших христианских добродетелей, и дю Букье безусловно стал одним из счастливейших мужей во всем королевстве Франции и Наварры.

— Она останется дурой до последнего своего вздоха, — безжалостно сказал отставной чиновник опекунского совета, который, однако же, обедал у г-жи дю Букье два раза в неделю.

Как это ни странно, но наша повесть была бы далеко не полна, если бы мы не упомянули здесь о том, что со смертью матери Сюзанны совпала смерть шевалье де Валуа. Шевалье умер вместе с монархией в августе 1830 года. Он отправился в Нонанкур, где присоединился к свите короля Карла X и благоговейно сопровождал его до Шербура вместе с Труавилями, Катеранами, д'Эгриньонами, Верней и прочими. Старый дворянин взял с собой пятьдесят тысяч франков — сумма, какую составляли его сбережения и стоимость ренты; он вручил эти деньги одному из верных друзей своих монархов для передачи королю, мотивируя свой поступок близостью смерти, а также тем, что эта сумма получена им милостями его величества и что, наконец, деньги последнего де Валуа принадлежат короне. Неизвестно, было ли сломлено его пылким усердием упорство Бурбона, который покидал Францию, свое прекрасное королевство, не захватив с собой ни гроша, и которого должна была тронуть беззаветная преданность шевалье, — но доподлинно известно, что Цезарине, единственной законной наследнице г-на де Валуа, едва осталось шестьсот франков ренты. Шевалье вернулся в Алансон, жестоко разбитый и горем и усталостью, и скончался тогда, когда Карл X вступил на чужую землю.

Госпожа дю Валь-Нобль и ее покровитель, боявшийся в то время мести либеральной партии, рады были воспользоваться предлогом, чтобы тайком уехать в деревню, где умерла мать Сюзанны. При распродаже с молотка имущества покойного шевалье де Валуа Сюзанна, желая получить на память о своем первом и добром друге его табакерку, набила ей огромную цену — тысячу франков. Впрочем, портрет княгини Горицы сам по себе стоил этих денег. Два года спустя один молодой щеголь, коллекционировавший красивые табакерки прошлого века, выпросил у Сюзанны табакерку покойного шевалье, прельстившись великолепной отделкой вещицы. И вот драгоценная безделушка, наперсница самой прекрасной на свете любви, отрада всей старости шевалье, выставлена ныне напоказ в своего рода частном музее. Если мертвым ведомо, что творится после их смерти, то у шевалье, должно быть, покраснела вся левая сторона головы.

Если бы эта история достигла только одной цели — внушить обладателям благоговейно почитаемых реликвий священный трепет и призвать их делать приписки к завещанию, чтобы твердо определять судьбы этих драгоценных сувениров минувшего счастья, передавая их в дружеские руки, — она и то уже оказала бы громадную услугу рыцарственной и влюбленной части публики, но в ней содержится гораздо более возвышенная мораль... Не доказывает ли она необходимость новой системы воспитания? Не взывает ли она к просвещенному содействию министров народного образования, которым следовало бы создать кафедры антропологии — науки, в которой Германия опережает нас? Современные мифы поняты еще меньше, чем мифы древние, несмотря на то, что нас изводят мифами. Мифы теснят нас со всех сторон, они заменяют все. Если они, согласно гуманитарной школе, являются светочами истории, то они спасут империи от любой революции, при одном условии, что профессора истории доведут разъяснение этих мифов до широких масс французской провинции. Если бы мадемуазель Кормон была образованна, если бы существовал в департаменте Орн профессор антропологии, наконец, если бы она прочла Ариосто, то разве приключились бы страшные беды ее супружеской жизни? Она, пожалуй, доискалась бы, почему итальянский поэт заставил Анжелику предпочесть Медора (своего рода белокурого шевалье де Валуа) Роланду[[39]](#footnote-39), который лишился боевого коня да только и знал, что приходить в неистовство. Не стал ли Медор мифической фигурой царедворца женской державы, а Роланд — символом беспорядочных, неистовых, бессильных революций, которые все разрушают, ничего не создавая? Таково мнение одного из учеников г-на Балланша, мы его здесь приводим, слагая с себя всякую ответственность.

До нас не дошло никаких сведений о бриллиантовых серьгах. Вы можете ныне видеть г-жу дю Валь-Нобль в Опере. Благодаря тому, что ее первым наставником был шевалье де Валуа, она кажется женщиной хорошего общества, будучи просто-напросто хорошей женщиной.

Госпожа дю Букье еще жива, — не значит ли это, что она все еще страдает? Приближаясь к шестидесятилетнему возрасту — пора, когда женщины могут позволить себе быть откровенными, — она поведала по секрету г-же дю Кудре, муж которой в августе 1830 года снова занял прежнюю должность, что ей нестерпима мысль умереть девственницей.

*Париж, октябрь 1836 г.*

1. *...Ламот‑Валуа, замешанной в деле об ожерелье.* — Графиня де Ламот, приближенная королевы Марии‑Антуанетты, обвиненная в краже ожерелья, была подвергнута наказанию кнутом, клеймению каленым железом и тюремному заключению. [↑](#footnote-ref-1)
2. *...несколько шуанил* — то есть принимал участие в роялистском движении шуанов. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Моле* , Франсуа‑Рене (1734—1802) — французский актер, исполнял роли главным образом «первых любовников»; пользовался репутацией изящного и элегантного человека. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Кифера* — прозвище Афродиты, богини любви, связанное с городом Кифера, где существовал древний культ этой богини. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Барон де Фенест* — герой сатирического романа французского писателя Агриппы д'Обинье (1552—1630) «Приключения барона де Фенеста». [↑](#footnote-ref-5)
6. *Монкада* — Франсиско де Монкада (1586—1635) — испанский военачальник; отличался большой изворотливостью при выполнении дипломатических поручений. [↑](#footnote-ref-6)
7. Гожусь (*лат.*). [↑](#footnote-ref-7)
8. Раковина Венеры (*лат.*). [↑](#footnote-ref-8)
9. *Сартин* , Габриель (1729—1801) — крупный чиновник, долгие годы служивший в уголовном суде и полиции. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Арну* , София (1744—1802) — оперная певица; считалась в свое время одной из блестящих по красоте и уму французских женщин. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Алкмена* — в античной мифологии возлюбленная Юпитера; Юпитер, пленившись ею, принял вид ее супруга Амфитриона и добился благосклонности Алкмены. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Бертье* , Луи‑Александр (1753—1815) — маршал наполеоновской армии. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Цинциннат* , Люций Квинкций — римский консул (460 год до н. э.) и диктатор (458 и 439 годы до н. э.), пользовавшийся репутацией человека, приверженного к простой сельской жизни и земледельческому труду. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Баррас* , Поль‑Жан, виконт (1775—1829) — один из руководителей контрреволюционного переворота 9 термидора 1794 года, приведшего к гибели якобинской диктатуры, член правительства Директории, беспринципный политик и спекулянт. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Бернадот* , Шарль (1764—1844) — наполеоновский маршал; с 1813 года участвовал в борьбе о наполеоновской Францией; с 1818 года — король Швеции, принявший имя Карла XIV Иоанна. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Мелас* , Михаэль‑Фридрих‑Бенедикт, барон (1729—1806) — австрийский фельдмаршал, участник битвы при Маренго. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Жокрис* — традиционный персонаж французских средневековых фарсов; отличался наивностью и доверчивостью и потому постоянно попадал в глупое положение. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Седен* , Мишель‑Жан (1719—1797) — французский драматург. [↑](#footnote-ref-18)
19. В пух и прах (*итал.*). [↑](#footnote-ref-19)
20. И всеми, сколько ни на есть (*итал.*). [↑](#footnote-ref-20)
21. *Избирательные коллегии* — коллегии по выбору в палату депутатов. Согласно закону от 29 июня 1820 года, крупные собственники обладали исключительным правом заседать как в окружных, так и в департаментских коллегиях, располагая таким образом двумя голосами. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Агнеса* — действующее лицо комедии Мольера «Урок женам» (1622). [↑](#footnote-ref-22)
23. *...спасти свое отечество в битве при Цюрихе и стакнуться с поставщиками.* — Речь идет о генерале Андре Массена (1756—1817), командовавшем французскими войсками в битве при Цюрихе (1799); злоупотребляя своим положением, он наживался на бесчестных сделках с военными поставщиками. [↑](#footnote-ref-23)
24. Помещика (*англ.*). [↑](#footnote-ref-24)
25. *...уподобившись герою «Рассеянного», герцогу де Бранкасу...* — «Рассеянный» — очерк, входящий в «Характеры, или Нравы нашего века» (1688), книгу французского сатирика‑моралиста XVII века Жана де Лабрюйера. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Шеверюс* , Жан‑Луи, де (1768—1836) — кардинал. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Сеид* — раб основателя мусульманской религии Магомета и его верный последователь. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Жозеф Прюдом* — комический персонаж, выведенный французским писателем и карикатуристом Анри Монье (1805—1877) в «Мемуарах Жозефа Прюдома» и в комедии «Величие в падение господина Прюдома»; самодовольный буржуа, глупец, возомнивший себя мудрым политиком и произносящий на каждом шагу банальные и бессмысленные трескучие фразы. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Матушка Жигонь* — один из персонажей французского марионеточного театра; обычно появляется в окружении своих многочисленных маленьких детей. [↑](#footnote-ref-29)
30. *...бог торговли, которого Республика изображала на своих серебряных монетах...* — На серебряных франках времен Республики был изображен Гермес; в античной мифологии Гермес считался покровителем торговли. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Аддисон* , Джозеф (1672—1719) — английский писатель‑просветитель. [↑](#footnote-ref-31)
32. *...прибытие Блюхера в Ватерлоо...* — Имеется в виду неожиданное для французов появление прусских войск под командованием генерала Гебхарда‑Леберехта Блюхера (1742—1819) во время битвы при Ватерлоо (1815). [↑](#footnote-ref-32)
33. *...презрение, выказанное Людовиком XIV принцу Евгению...* — Евгений Савойский, принц Кариньянский (1663—1736), оскорбленный отказом Людовика XIV дать ему полк, перешел на службу в австрийскую армию, где стал одним из полководцев. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Дененский кюре.* — Существовала легенда, что победой при Денене (1712), сыгравшей решающую роль в прекращении войны за испанское наследство, французы были обязаны дененскому кюре, который подсказал маневр, выгодный для их армии. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Маркиз де Монторан* — действующее лицо романа Бальзака «Шуаны». [↑](#footnote-ref-35)
36. *Мари де Верней* — действующее лицо романа Бальзака «Шуаны». [↑](#footnote-ref-36)
37. *Дженни Динс* и ее *отец* — персонажи романа Вальтера Скотта (1771—1832) «Эдинбургская темница». [↑](#footnote-ref-37)
38. Лучше умереть, чем опозориться (*лат.*). [↑](#footnote-ref-38)
39. *Анжелика, Медор, Роланд* — герои поэмы итальянского писателя Людовико Ариссто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (1532) [↑](#footnote-ref-39)